

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

5

ВОЙНА МИРОВ
В ДНИ КОМЕТА

У Э Л Л И С
Терберн



- Герберт Уэллс
 - Пролог
 - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
 - 1. Пыль в мире теней
 - 2. Нетти
 - 3. Револьвер
 - 4. Война
 - 5. Погоня за двумя влюбленными
 - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 - 1. Перемена
 - 2. Пробуждение
 - 3. Заседание совета министров
 - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
 - 1. Любовь после перемены
 - 2. Последние дни моей матери
 - 3. Праздник Майских костров и канун Нового года
 - Эпилог
 - notes
 - 1
 - 2
 - 3
-

Герберт Уэллс
В ДНИ КОМЕТЫ

Пролог

Человек, писавший в башне

Я увидел седого, но еще крепкого человека, который сидел за письменным столом и писал.

Он находился в комнате, в башне, очень высоко над землей, так что из большого окна влево от него виднелись одни только дали: морской горизонт, мыс и мерцание огней сквозь туманную дымку, по которому на закате за много миль узнаешь город. Комната была чистая, красивая, но чем-то неуловимым, какой-то своей необычностью она показалась мне удивительной и странной. Трудно было определить, какого она стиля, а простой костюм, в который одет был этот человек, не говорил ничего ни об эпохе, ни о стране, где все это происходило. «Быть может, это — Счастливое Будущее, — подумал я, — или Утопия, или Страна Простых Грез». У меня в голове промелькнули фраза Генри Джеймса и рассказ о «Великой Счастливой Стране», но так же быстро улетучились, не оставив и следа.

Человек писал чем-то вроде вечного пера — новейшее изобретение, значит, историческое прошлое тут ни при чем. Исписав быстро и ровно лист, он присоединил его к стопке на изящном столике под окном. Последние исписанные листы лежали в беспорядке, покрывая остальные, соединенные в тетради.

Он, видимо, не замечал моего присутствия, а я стоял и ожидал, когда он перестанет писать. Он был, несомненно, стар, но писал без напряжения, твердой рукой...

Высоко над его головой наклонно висело вогнутое зеркало; какое-то легкое движение в нем привлекло мое внимание; я взглянул вверх и увидел искаженное и потому странное, но очень яркое, многоцветное отражение великолепного дворца, террасы, широкой и большой дороги со снующими по ней людьми, фантастическими, невероятными из-за кривизны зеркала. Я быстро обернулся, чтобы яснее рассмотреть все это из окна, но оно находилось слишком высоко; внизу ничего не было видно, и я снова заглянул в зеркало.

Но в эту минуту человек откинулся на спинку кресла. Он положил перо и вздохнул, точно говоря: «Ох уж эта работа! Как она меня радует и утомляет!»

— Что это за место? — спросил я. — И кто вы?

Он с изумлением оглянулся.

— Что это за место? — повторил я. — Где я нахожусь?

Он пристально посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей, потом черты его разгладились. Он улыбнулся и указал мне на стул у стола.

— Я пишу, — сказал он.

— Об этом?

— О Перемене.

Я сел. Кресло было очень удобное, свет падал сбоку.

— Если бы вы прочли... — начал он.

— Это объяснит мне? — спросил я, указывая на рукопись.

— Объяснит, — ответил он и, все еще глядя на меня, потянулся за новым, чистым листом бумаги.

Я окинул взглядом комнату, потом посмотрел на столик. На одной из стопок очень ясно выделялась цифра «1», и я взял ее, улыбнувшись в ответ на дружелюбный взгляд старика.

— Отлично! — сказал я, вдруг почувствовав себя легко и свободно.

Он кивнул мне и снова стал писать, а я с некоторым недоверием и любопытством раскрыл рукопись.

Вот эта история, написанная жизнерадостным, неутомимым стариком в его уютной башне.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«КОМЕТА»

1. Пыль в мире теней

Я решил описать Великую Перемену, так как она повлияла на мою жизнь и на жизнь немногих близких мне людей, и делаю это главным образом для собственного удовольствия.

Давным-давно, еще в дни моей суровой и несчастной юности, хотелось мне написать какую-нибудь книгу. Скрипеть пером втайне от всех и мечтать о славе писателя было для меня большим утешением, и я очень интересовался литературным миром и жизнью литераторов. Даже и сейчас, среди довольства и покоя, я рад тому, что у меня есть время и возможность хоть частично осуществить свои юношеские безнадежные мечты. Но одно это вряд ли заставило бы меня сесть за письменный стол в современном мире, где так много живого и интересного дела даже для стариков. Я считаю, что такое обозрение моего прошлого необходимо для того, чтобы яснее понимать настоящее. Уходящие годы заставляют наконец оглянуться на прошлое; для семидесятилетнего человека события его былой молодости имеют гораздо больше значения, чем для сорокалетнего. А я уже утратил связь со своей молодостью. Старая жизнь кажется мне отрезанной от новой, кажется такой чуждой и бессмысленной, что иногда я начинаю сомневаться, была ли она вообще. Из-памяти стерлись поступки, здания, места. Еще на днях гуляя после обеда по той местности, где когда-то пустые и мрачные окраины Суотингли тянулись к Литу, я вдруг остановился и невольно «просил себя: «Неужели здесь, на этом самом месте, среди бурьяна, отбросов и черепков старой посуды, я украдкой заряжал свой револьвер для убийства? Полно, было ли это действительно в моей жизни? Неужели у меня могли возникнуть такие мысли и намерения? Может быть, это только страшный ночной кошмар, примешавшийся к моим воспоминаниям о прошлой жизни? Наверное, у многих еще здравствующих моих сверстников возникают такие же сомнения. Я думаю, что новым поколениям, которые сменят нас в великих делах человечества, понадобится множество таких воспоминаний, как мои, чтобы составить себе хоть некоторое понятие о том мире теней, что предшествовал нашим дням. К тому же моя история довольно

типична для Перемены; она застала меня в разгаре любовного увлечения, и мне посчастливилось наблюдать зарождение нового порядка...

Память переносит меня за пятьдесят лет назад, в маленькую полутемную комнатку с подъемным окном, открытым в звездное небо, и я мгновенно чую особенный запах этой комнаты — едкий запах дешевого керосина, горящего в плохо заправленной лампе. Лет за пятнадцать до этого электрическое освещение было уже достаточно усовершенствовано, но большая часть населения продолжала пользоваться такими лампами. Вся первая сцена проходит в моем воспоминании под этот пахучий аккомпанемент. Так пахла комната вечером. Днем же в ней стоял более легкий запах — спертый, острый, который почему-то ассоциируется у меня с пылью.

Позвольте подробно описать вам эту комнату. Она была площадью примерно восемь на семь футов, а в высоту несколько больше. Потолок был беленый, кое-где потрескавшийся, покособившийся, серый от копоти, а в одном месте расцвеченный желтоватыми и зеленоватыми пятнами от проникавшей сверху сырости. Стены были оклеены коричневато-серыми обоями с красными разводами, изображавшими не то изогнутые страусовые перья, не то цветы акантуса, не лишённые вначале, когда обои были еще новыми, своеобразной, тусклой живописности. В обоях зияли дыры, — результат бесплодных попыток Парлода вбивать гвозди, чтобы развешивать на них рисунки. Один гвоздь как-то попал между двумя кирпичами и удержался; теперь на нем, при ненадежной поддержке перетершихся и связанных узлами шнурков от шторы, висели полочки для книг из дощечек, покрытых голубым лаком и украшенных узорчатой американской бахромой, едва прикрепленной мелкими гвоздиками. Под полками стоял столик, который брыкался, как мул, при внезапном прикосновении чьего-либо колена. Он был покрыт скатертью, узор которой, черный с красным, разнообразили чернильные пятна — у Парлода вечно перевертывалась бутылка с чернилами; а посередине стола — главное в нашей картине — стояла зловонная лампа. Сделана она была из беловатого прозрачного материала, чего-то среднего между фарфором и стеклом; абажур из того же материала не защищал глаз и только выставлял напоказ пыль и керосин, обильно размазанные по всей лампе.

Неровные доски пола были покрыты облезлой темно-коричневой краской, а в одном месте тускло расцветал среди пыли и теней пестрый коврик.

Кроме того, в комнате был маленький чугунный камин, выкрашенный бурой краской, с совсем крошечной безобразной решеткой, тоже чугунной, сквозь которую виднелись серые камни очага. Огня в камине не было; из-за решетки виднелись только клочки бумаги и сломанная маисовая трубка; в угол был задвинут облезлый ящик для угля с оторванной ручкой. В те времена каждая комната отапливалась отдельно, и очаг давал больше грязи, чем тепла. Предполагалось, что небольшой камин, подъемное окно и неплотно закрывающаяся дверь достаточно вентилируют помещение.

У одной стены выдвижная кровать Парлода скрывала свои серые от старости простыни под ветхим, заплатанным одеялом, в то время как под ней нашли себе прибежище всякие ящики и картонки; а по обе стороны окна стояли старая этажерка с разной рухлядью и умывальник с нехитрыми туалетными принадлежностями.

Этот деревянный умывальник изобиловал точеными украшениями, сделанными наскоро, очевидно, для того, чтобы шишками и шариками на ножках и углах скрыть топорную работу. Затем он попал, очевидно, к очень досужему человеку, имевшему под рукой горшок с охрой, лак и набор мягких кистей и щеток. Он сперва выкрасил умывальник охрой, потом вымазал лаком и затем, думается мне, принялся своими щетками и кистями разбивать лак бороздками и кругами под какое-то необыкновенное дерево. Законченный таким образом умывальник прослужил долгую и трудную службу; его рубили, кололи, давали ему пинка, били кулаками, пачкали, прожигали в нем дыры, околачивали его молотком, мочили, сушили — словом, он подвергался всевозможным испытаниям за исключением двух: его пока еще не сожгли и ни разу не чистили. И, наконец, после всех злоключений он нашел убежище в каморке Парлода под самым чердаком, чтобы выполнять несложные обязанности, возлагаемые на него чистоплотью его последнего хозяина. При умывальнике имелся таз, кувшин, жестяное ведро, кусок желтого мыла в мыльнице, зубная щетка, кисть для бритья, похожая на крысиный хвост, мохнатое полотенце и еще два-три мелких предмета. В те дни только очень зажиточные люди имели более удобные умывальные приспособления,

и надо заметить, что каждую каплю воды, употребляемую Парлодом, несчастная служанка — Парлод называл ее «рабыней» — приносила снизу на самый верх дома и затем уносила обратно. Мы уже начинаем забывать, что современная чистоплотность появилась, в сущности, очень недавно. Несомненно, можно смело утверждать, что Парлод никогда не купался и ни разу с самого раннего детства не мылся целиком с головы до ног. Мыться так в то время, о котором я рассказываю, вряд ли приходилось хотя бы одному из пятидесяти.

Комод, тоже оригинально разделанный под какое-то дерево, содержал в двух больших и двух маленьких ящиках весь гардероб Парлода, а деревянные крючки на двери для двух его шляп завершали меблировку «жилой комнаты» накануне Перемены. Впрочем, я забыл упомянуть о стуле с туго набитой «подушкой», довольно неуклюже скрывавшей недостатки плетеного сиденья, и забыл именно потому, что как раз сидел на нем в ту минуту, с которой удобнее всего начать мой рассказ.

Я описал комнату Парлода так подробно, чтобы помочь вам понять, в каком ключе написаны первые главы моего рассказа; однако не следует думать, что в то время я обращал хотя бы малейшее внимание на эту странную обстановку или на чадную лампу. Все это грязное безобразие казалось мне тогда самой естественной и обычной обстановкой человеческого существования, Таков был мир, который я знал. Мой ум был целиком поглощен более серьезными и захватывающими проблемами, и только теперь, в далеких воспоминаниях, эти мелочи кажутся мне примечательными и значительными, как внешнее проявление душевной сумятицы, в которую повергал нас старый мир.

Парлод с биноклем в руке стоял у раскрытого окна. Он искал новую комету, нашел, но не поверил этому и потерял ее снова.

Мне комета только мешала, ибо я хотел говорить с ним совсем о другом, но Парлод был поглощен ею. Голова моя горела, я был точно в лихорадке от забот и огорчений; я хотел поговорить с ним по душам или хоть облегчить свое сердце романтическими излияниями, поэтому я едва слушал то, о чем он мне говорил. Впервые в жизни

услышал я о новой световой точке среди бесчисленных светящихся точек вселенной и отнесся к этому совершенно равнодушно.

Мы были почти ровесники: Парлоду было двадцать два года, а мне — на восемь месяцев меньше. Он служил, по его собственному определению, «переписчиком набело» у одного мелкого стряпчего в Оверкасле, а я был младшим служащим в гончарной лавке Роудона в Клейтоне. Мы познакомились в «парламенте» Союза молодых христиан Суотингли; оказалось, что мы оба посещаем курсы в Оверкасле: он изучал естествознание, а я стенографию. Мы стали вместе возвращаться домой и подружились. (Хочу напомнить вам, что Суотингли, Оверкасл и Клейтон соседствовали друг с другом в большой промышленной области Мидлэнда.) Мы поведали друг другу наши сомнения в истинности религии, признались в нашем интересе к социализму; раза два он по воскресеньям ужинал у моей матери, и я мог пользоваться его комнатой. Он был тогда высоким неуклюжим юношей с льяными волосами, длинной шеей и большими руками, очень увлекающимся и восторженным. Два раза в неделю он посещал вечерние курсы в Оверкасле; его любимым предметом была физическая география, и таким образом чудеса космического пространства полностью захватили его. У своего дяди, фермера по ту сторону болот в Лите, он раздобыл себе бинокль, купил дешевую бумажную планисферу и астрономический альманах Уитекера; и долгое, время дневной и лунный свет казались ему лишь досадными помехами в его любимом занятии — наблюдении за звездами. Его влекли к себе бесконечность просторов вселенной и те никому не известные тайны, что скрываются в этих мрачных бездонных глубинах. Он неустанно трудился и с помощью очень подробной статейки в популярном ежемесячнике «Небо», издававшемся для любителей астрономии, навел наконец свой бинокль на нового гостя нашей сферы, явившегося из космических пространств. С восторгом смотрел он на маленькое дрожащее световое пятнышко среди блестящих точек и смотрел не отрываясь. Я должен был подождать со своими излияниями.

— Удивительно! — вздохнул он и снова восторженно повторил: — Удивительно! — Не хочешь ли посмотреть? — обернулся он ко мне.

Мне пришлось посмотреть, а потом слушать о том, что этот едва заметный странник станет, и очень скоро, одной из величайших комет, какие когда-либо видел мир, и что она пройдет в стольких-то и стольких-то миллионах миль от Земли — совсем рядом, по мнению Парлода; спектроскоп уже исследует ее химические секреты, хотя никто еще не понял, что за странная зеленая полоса проходит по ней, и что комету уже фотографируют в то время, как она разворачивает хвост — в необычном направлении — в сторону Солнца, и что потом хвост опять свертывается. Я слушал одним ухом и все время думал о Нетти Стюарт, и о ее последнем письме ко мне, и об отвратительной физиономии старого Роудона, которого я видел сегодня днем. Я сочинял ответ Нетти и придумывал запоздалые возражения своему хозяину, и снова образ Нетти заслонял все остальные мысли...

Нетти Стюарт была дочерью старшего садовника богатой вдовы мистера Веррола, и мы с ней влюбились друг в друга и начали целоваться, когда нам не было еще восемнадцати лет. Наши матери были троюродными сестрами и подругами со школьной скамьи; и хотя мать рано овдовела из-за несчастного случая на железной дороге и принуждена была отдавать комнаты внаем (у нее квартировал помощник клейтонского приходского священника) — словом, занимала более низкое положение в обществе, чем миссис Стюарт, они поддерживали дружеские отношения, и мать время от времени посещала домик садовника в Чексхилл-Тоуэрсе. Я обыкновенно сопровождал ее. И я помню, как ясным, светлым июльским вечером, в один из тех долгих золотистых вечеров, которые не уступают места ночи, а — скорее из любезности — допускают наконец на небо месяц с избранной свитой звезд, у пруда с золотыми рыбками, где сходились тисовые аллеи, Нетти и я робко признались друг другу в любви. Я до сих пор помню — и всегда испытываю волнение при этом воспоминании — то трепетное чувство, которое охватило меня тогда. Нетти была в белом платье, ее волосы спадали мягкими волнами над сияющими темными глазами; нежную шею охватывало жемчужное ожерелье с маленьким золотым медальоном посередине. Я поцеловал ее несмелые губы и потом целых три года — нет, наверное, в течение всей жизни, и ее и моей, — я готов был умереть за нее.

Вы должны понять — а понимать с каждым годом становится все труднее, — до какой степени тогдашний мир во всем отличался от

нынешнего. Это был мрачный мир, полный беспорядка, болезней, страданий, которые можно было бы предотвратить; полный грубости и бессмысленной, непредумышленной жестокости, и тем не менее, а быть может, именно вследствие того, что весь мир был объят мраком, на долю человека выпадали иногда редкие минуты такой красоты, какая теперь стала уже невозможной. Великая Перемена совершилась навеки, счастье и красота окружают нас от рожденья до смерти, на земле теперь — мир, и в людях — благоволение. Никому и в голову не придет мечтать о возвращении бедствий прежнего времени, и, однако, даже тогда серую завесу мрака изредка пронизывала такая яркая радость, такое пылкое чувство, каких теперь уже не бывает. Уничтожила ли Перемена крайности в жизни или, быть может, так кажется мне просто потому, что молодость моя ушла — да и силы зрелости уже на ущербе — и унесла с собой восторги и отчаяние, оставив мне только опыт, сострадание и воспоминания?

Не знаю. Чтобы ответить на этот неразрешимый вопрос, нужно было бы быть молодым и тогда и теперь.

Быть может, холодный наблюдатель даже и в старое время нашел бы мало красоты в наших фотографиях. Они хранятся в столе, на котором я пишу, и я вижу на них неловкого юнца в плохо сшитом костюме, купленном в магазине готового платья. А Нетти... Да и Нетти плохо одета, поза у нее напряженная и искусственная, но за фотографией я вижу ее живую прелесть, снова ощущаю то таинственное очарование, которое влекло меня к ней. Ее лицо живет даже и на фотографии, иначе я давно уничтожил бы этот портрет.

Красота не поддается описанию. Как жаль, что я не владею другим искусством и не могу нарисовать на полях моей рукописи то, чего не выразишь словами. Ее глаза смотрели так строго. Ее верхняя губа была чуточку короче нижней, и поэтому-то так мило складывался ее рот и расплывался в прелестную улыбку. О, эта милая, строгая улыбка!

Поцеловавшись, мы решили пока ничего не говорить родителям о нашем окончательном решении. Потом пришла пора расстаться. Застенчиво простился я с Нетти при посторонних, и мы с матерью пошли через освещенный луною парк — в чаще папоротника слышался шорох встревоженных ланей — к железнодорожной станции Чексхилла, чтобы вернуться в наш темный подвал в

Клейтоне. Затем почти год я видел Нетти только в мечтах. При следующей встрече мы решили переписываться, но непременно тайно: Нетти не хотела, чтобы кто-нибудь в ее семье, не исключая даже единственной сестры, знал о ее чувстве. Я должен был отсылать свои драгоценные послания заклеенными в двойных конвертах, по адресу одной ее школьной подруги, жившей близ Лондона. Я мог бы даже теперь воспроизвести этот адрес, хотя и дом, и улица, и самый пригород давно исчезли без следа.

Но с перепиской началось отчуждение, — ведь мы впервые пришли в иное, нечувственное соприкосновение и пытались выразить свои мысли и настроения на бумаге.

Надо вам сказать, что мысль находилась тогда в очень странном состоянии; ее душили устарелые, застывшие штампы, она путалась в извилистом лабиринте всевозможных ухищрений, приспособлений, замалчиваний, условностей и уверток. Низкие цели и соображения извращали правду в устах человека. Я был воспитан моей матерью в странной, старомодной и узкой вере в известные религиозные истины, в известные правила поведения, в известные понятия социального и политического порядка, имевшие так же мало применения в реальной действительности для ежедневных нужд и потребностей людей, как белье, пересыпанное лавандой и спрятанное в шкафу. Ее религия и в самом деле пахла лавандой; по воскресеньям она отметала от себя реальную жизнь, убирала будничную одежду и даже всю хозяйственную утварь, прятала свои жесткие и потрескавшиеся от стирки руки в черные, тщательно заштопанные перчатки, надевала старое черное шелковое платье и чепец и шла в церковь. Меня она тоже брала с собой, приодетого и приглаженного. Там мы пели, склоняли голову, слушали звучные молитвы, присоединяли свои голоса к звучному хору и облегченно вздыхали, вместе со всеми вставая по окончании богослужения, которое начиналось возгласом: «Во имя отца и сына...» — и заканчивалось бесцветной краткой проповедью. Был в религии моей матери и ад с косматым рыжим пламенем, который казался ей ужасным, и дьявол, который был *ex officio*^[1] врагом английского короля; верила она и в греховность плотских вожделений. Мы должны были верить, что большинство обитателей нашего бедного, несчастного мира будет на том свете искупать свои земные заблуждения и треволения самыми

изысканными мучениями, которым не будет конца, аминь. На самом же деле это адское пламя больше никого не пугало. Уже задолго до моего времени все эти ужасы потускнели и увяли, утратив всякую реальность. Не помню, боялся ли я всего этого даже в раннем детстве, — во всяком случае, меньше, чем великана, убитого в сказке Бинстоком, — а теперь это вспоминается мне, точно рамка для измученного, морщинистого лица моей бедной матери, вспоминается с любовью, как часть ее самой. Мне кажется, что наш жилец, мистер Геббитас, пухлый маленький толстячок, так странно преобразившийся в своем облачении и так громогласно распевавший молитвы времен Елизаветы, немало способствовал ее увлечению религией. Она наделяла бога своей трепетной, лучистой добротой и очищала его от всех качеств, какие приписывали ему богословы; она сама была — если бы только я мог тогда понять это — лучшим примером всего того, чему хотела научить меня.

Так я вижу это теперь, но молодость судит обо всем слишком прямолинейно, и если вначале я вполне серьезно принимал все целиком: и огненный ад и мстительного бога, не прощающего малейшее неверие, как будто они были так же реальны, как чугуноплавильный завод Блэддина или гончарни Роудона, — то потом я так же серьезно выбросил все это из головы.

Мистер Геббитас иногда, как говорится, «обращал внимание» на меня: он не дал мне по окончании школы бросить чтение, и с наилучшими намерениями, чтобы уберечь меня от яда времени, заставил прочитать «Опровергнутый скептицизм» Бэрбла, и обратил мое внимание на библиотеку института в Клейтоне.

Достопочтенный Бэрбл совершенно ошеломил меня. Из его возражений скептику мне стало ясно, что ортодоксальная доктрина и вся эта потускневшая и уже ничуть не страшная загробная жизнь, которые я принимал так же безоговорочно, как принимают солнце, в сущности, не стоят и выеденного яйца, а окончательно убедила меня в этом первая попавшаяся мне в библиотеке книга — американское издание полного собрания сочинений Шелли, его едкая проза и воздушная поэзия. Я стал отъявленным атеистом. В Союзе молодых христиан я вскоре познакомился с Парлодом, который поведал мне под строжайшим секретом, что он «насквозь социалист», и дал прочесть несколько номеров журнала с громким названием «Призыв»,

начавшего крестовый поход против господствующей религии. Всякий неглупый юнец в отрочестве подвержен — и, по счастью, так будет всегда — философским сомнениям, благородному негодованию и новым веяниям, и, признаюсь вам, я перенес эту болезнь в тяжелой форме. Я говорю «сомнениям», но, в сущности, сомнение куда сложнее, а это было просто отчаянное, страстное отрицание: «Неужели в это я мог верить!» И в таком состоянии я начал, как вы помните, писать любовные письма к Нетти.

Мы живем теперь в такое время, когда Великая Перемена во многом уже завершилась, когда в людях воспитывается известная духовная мягкость, ничего, впрочем, не отнимающая от нашей силы, и потому теперь трудно понять, как скована была и с каким трудом пробивала себе дорогу мысль тогдашней молодежи. Задуматься о некоторых вопросах уже значило чуть ли не решаться на бунт, и обыкновенный молодой человек начинал колебаться между скрытностью и дерзким вызовом. Теперь многие находят Шелли — несмотря на всю звучность и мелодичность его стиха — слишком шумным и устарелым, потому что теперь не существует больше его Анарха; но было время, когда всякая новая мысль неизбежно выражалась в эдаком битье стекол. Нелегко представить себе тогдашнее брожение умов, всегдашнюю готовность освистать всякий авторитет, вызывающий тон, которым постоянно хвастались мы, зеленые юнцы того времени. Я с жадностью читал сочинения Карлейля, Броунинга, Гейне, потрясшие не одно поколение, и не только читал и восхищался, но и следовал им. В письмах к Нетти излияния в любви перемешивались с богословскими, социологическими и космическими рассуждениями, и все это в самом высокопарном тоне. Не удивительно, что эти письма приводили ее в полное недоумение.

Я с любовью и даже, может быть, с завистью вспоминаю свою ушедшую юность, но мне было бы трудно защищаться, если бы кто вздумал осудить меня без снисхождения, как глупого, не чуждого рисовки, неуравновешенного подростка, как две капли воды похожего на свою выцветшую фотографию. Признаться, когда я пытаюсь припомнить свои усилия писать умные и значительные письма к возлюбленной, меня просто бросает в дрожь... И все же мне жаль, что хоть часть из них не сохранилась.

Она писала мне просто, круглым детским почерком и плохим слогом. В первых письмах чувствовалось робкое удовольствие от слова «дорогой»; помню, как я удивился, а потом, когда понял, обрадовался, прочитав рядом с моим именем слово «любый», что означало «любимый». Но когда начались мои философствования, ее ответы стали менее нежными.

Не хочу утомлять вас рассказом о нашей глупой детской ссоре, о том, как в одно из воскресений я отправился в Чексхилл без приглашения и еще больше испортил дело, а затем поправил его, написав письмо, которое она нашла «милым». Не буду рассказывать вам и о последующих наших недоразумениях. Виновником всегда оказывался я, и до последней ссоры я всегда мирился первый; а между ссорами мы пережили несколько моментов нежной близости, и я очень любил мою Нетти. Беда была в том, что в темноте и уединении я неотступно думал о ней, о ее глазах, о ее прикосновении, о ее сладком, чарующем присутствии; но, когда я садился за письмо к ней, меня обуревали мысли о Шелли, о Вернее, о самом себе и о прочих совершенно неподходящих материях. Пылкому влюбленному труднее высказать свою любовь, чем тому, кто совсем не любит. Что же касается Нетти, то я знаю, она любила не меня, а эту сладостную таинственность. Разбудить в ней страсть суждено было не мне... Так тянулась наша переписка. Вдруг она написала мне, что сомневается, может ли она любить социалиста и неверующего; за этим письмом последовало другое, совершенно неожиданное и по стилю и по содержанию. Она считает, что мы не подходим друг другу, что у нас разные вкусы и убеждения, что она давно уже собирается вернуть мне мое слово. Итак, я получил отставку, хоть и не сразу понял ее. Письмо я прочел, когда пришел домой, получив от старого Роудона довольно грубый отказ прибавить мне жалованья. Поэтому я в тот вечер лихорадочно пытался как-то осознать и примириться с двумя неожиданными и ошеломляющими открытиями: и Нетти и Роудон совершенно во мне не нуждаются. А тут еще разговор о комете!

Каково же было мое положение?

Я до того сроднился с мыслью, что Нетти — моя навсегда, ибо таковы традиции «верной любви», что обдуманное, холодное фразы ее письма, после того как мы целовались, шептались и были так близки, потрясли меня до глубины души. И Роудон тоже меня не

ценит! Мне казалось, что весь мир внезапно обрушился на меня, грозит сокрушить и уничтожить и что мне необходимо защитить свои права каким-нибудь решительным образом. Мое уязвленное самолюбие не находило утешения ни в вере моего детства, ни в неверии последних лет.

Хорошо было бы сейчас же уйти от Роудона и каким-нибудь необычайным и быстрым способом озолотить его конкурента Фробишера, владельца соседних гончарен!

Первую часть этой программы выполнить было нетрудно, — стоило только подойти к Роудону и объявить ему: «Вы еще обо мне услышите», — но вторая часть могла и не удалиться: Фробишер мог подвести меня и не разбогатеть. Это, впрочем, было не так важно. Важнее всего — Нетти. В голове у меня теснились обрывки фраз для письма к ней. Презрение, ирония, нежность — что выбрать?..

— Вот досада! — сказал вдруг Парлод.

— Что такое?

— Разожгли печи на чугуноплавильном заводе, и дым мешает мне смотреть на комету.

Я решил воспользоваться перерывом и поговорить с Парлодом.

— Знаешь, — начал я, — мне, наверно, придется все бросить. Старый Роудон не дает прибавки, а мне теперь нельзя будет продолжать работу на прежних условиях. Понимаешь? Придется, пожалуй, совсем уехать из Клейтона.

Парлод опустил бинокль и посмотрел на меня.

— Не такое теперь время, чтобы менять место, — сказал он, помолчав.

То же самое говорил мне Роудон, только более грубо.

Но с Парлодом я обыкновенно впадал в героический тон.

— Мне надоела эта дурацкая работа, — сказал я. — Лучше терпеть физические лишения, чем унижаться.

— Не уверен, — медленно протянул Парлод.

И тут начался один из наших бесконечных разговоров, тех пространных, запутанных, отвлеченных и вместе с тем интимных разговоров, которые до конца мира будут дороги сердцу каждого мыслящего юноши. Этого не изменила даже Перемена.

Конечно, я не могу теперь восстановить в памяти весь извилистый лабиринт слов, я не запомнил почти ничего из этого

разговора, но могу ясно представить себе, как это было. Я, наверное, рисовался, как обычно, и, без сомнения, вел себя глупейшим образом, как оскорбленный и страдающий эгоист, а Парлод играл роль глубокомысленного философа.

Мы вышли прогуляться. Ночь была летняя, теплая и располагала к откровенности. Один отрывок разговора я запомнил очень хорошо.

— Временами я мечтаю, — сказал я, указывая на небо, — чтобы эта твоя комета или еще что-нибудь действительно столкнулась с землей и смела бы всех нас прочь со всеми стачками, войнами, с нашей сумятицей, любовью, ревностью и всеми нашими несчастьями.

— Вот как! — сказал Парлод, видимо, задумываясь над моими словами. — Это еще больше увеличит наши бедствия, — вдруг заявил он, хотя я уже говорил совсем о другом.

— Что именно?

— Столкновение с кометой. Это может отбросить мир назад. Оставшиеся в живых еще больше одичают.

— А почему ты думаешь, что кто-нибудь может остаться в живых?..

В таком стиле велась наша беседа, пока мы шли по узкой улице, где жил Парлод, и потом поднимались по лестнице и брели переулками к Клейтон-Крэсту и к большой дороге.

Но, увлекшись воспоминаниями о днях, предшествовавших Перемене, я совсем забыл, что места эти теперь неузнаваемо изменились, что узкая улица, лестница и вид с Клейтон-Крэста, да, в сущности, и весь тот мир, в котором я родился и вырос, давно исчезли из пространства и времени и чужды новому поколению. Вы не можете себе представить то, что вижу я, — темную пустынную улицу с рядами жалких домов, освещенную тусклыми газовыми фонарями на углах; не можете почувствовать неровную мостовую под ногами, не можете заметить слабо освещенные окна и в них — тени людей на безобразных и пестрых от заплат, зачастую косо висящих шторах. Не можете пройти мимо пивной, освещенной немного ярче, не увидите ее окон, стыдливо скрывающих то, что происходит внутри, и из ее приотворенной двери вас не обдаст отравленным воздухом, и ушей ваших не коснется грубая брань, и не проскользнет мимо вас вниз по ступенькам крыльца съезжившаяся фигурка бездомного ребенка.

Мы перешли более длинную улицу, по которой грохотал неуклюжий, пыхтящий паровичок, изрыгая дым и искры; а вдали блистали грязным блеском витрины магазинов, да фонари на тележках уличных торговцев роняли искры своего гарного масла в ночь. На этой улице смутно темнели фигуры пешеходов, а с пустыря между домами слышался голос странствующего проповедника. Вы не можете увидеть всего этого так, как вижу я, и не можете, если не видели картин великого Гайда, представить себе, как выглядели в свете газовых фонарей большие щиты для афиш, мимо которых мы проходили.

О эти щиты! Они пестрели самыми яркими красками исчезнувшего мира. На них на слоях клейстера и бумаги сливалась в нестройном хоре разноголосица новомодных затей; продавец пилюль и проповедник, театры и благотворительные учреждения, чудодейственное мыло и удивительные пикули, пишущие и швейные машины — все это вперемешку кричало и взывало к прохожему. Далее тянулся грязный переулок, покрытый угольной пылью; фонарей здесь вовсе не было, и только в многочисленных лужах поблескивали отраженные звезды. Увлеченные разговором, мы не обращали на это внимания.

Затем мимо огородов, мимо пустыря, засаженного капустой, мимо каких-то уродливых сараев и заброшенной фабрики мы вышли на большую дорогу. Она шла в гору мимо нескольких домов и двух-трех пивных и сворачивала в том месте, откуда открывался вид на всю долину с четырьмя сливающимися шумными промышленными городами.

Правда, надо признать, что с сумерками в эту долину опускались чары какого-то волшебного великолепия и окутывали ее вплоть до утренней зари. Ужасающая бедность скрывалась, точно под вуалью; жалкие лачуги, торчащие дымовые трубы, клочки тощей растительности, окруженные плетнем из проволоки и дощечек от старых бочек, ржавые рубцы шахт, где добывалась железная руда, груды шлака из доменных печей — все это словно исчезало; дым, пар и копоть от доменных печей, гончарных и дымогарных труб преобразались и поглощались ночью. Насыщенный пылью воздух, душный и тяжелый днем, превращался с заходом солнца в яркое волшебство красок: голубой, пурпурной, вишневой и кроваво-красной

с удивительно прозрачными зелеными и желтыми полосами в темнеющем небе. Когда царственное солнце уходило на покой, каждая доменная печь спешила надеть на себя корону пламени; темные груды золы и угольной пыли мерцали дрожащими огнями, и каждая гончарня дерзко венчала себя ореолом света. Единое царство дня распадалось на тысячу мелких феодальных владений горящего угля. Остальные улицы в долине заявляли о себе слабо светящимися желтыми цепочками газовых фонарей, а на главных площадях и перекрестках к ним примешивался зеленоватый свет и резкое холодное сияние фонарей электрических. Переплетающиеся линии железных дорог отмечали огнями места пересечений и вздымали прямоугольные созвездия красных и зеленых сигнальных звезд. Поезда превращались в черных членистых огнедышащих змеев...

А над всем этим высоко в небе, словно недостижимая и полузабытая мечта, сиял иной мир, вновь открытый Парлодом, не подчиненный ни солнцу, ни доменным печам, — мир звезд.

Так выглядели те места, где мы с Парлодом вели наши бесконечные разговоры. Днем с вершины холма на запад открывался вид на фермы, парки, большие богатые дома, на купол далекого собора, а иногда в пасмурную погоду на дождливом небе ясно вырисовывался хребет далеких гор. А еще дальше, невидимый за горизонтом, лежал Чексхилл; я всегда его чувствовал, и ночью сильнее, чем днем. Чексхилл и Нетти!

И когда мы шли по усыпанной угольным мусором тропинке, рядом с выбитой проезжей дорогой, и обсуждали свои горести, нам, двум юнцам, казалось, что с этого хребта наш взор охватывает целый мир.

С одной стороны там, вокруг грязных фабрик и мастерских, в тесноте и мраке ютились рабочие, плохо одетые, вечно недоедавшие, плохо обученные, всегда получавшие втридорога все самое худшее, никогда не уверенные, будет ли у них завтра даже этот жалкий заработок, и среди их нищенских жилищ, как сорная трава, разросшаяся на свалке, вздымались часовни, церкви, трактиры; а с другой стороны — на просторе, на свободе, в почете, не замечая нищенских лачуг, живописных в своей бедности и переполненных тружениками, жили землевладельцы и хозяева, собственники гончарен, литейных заводов, ферм и копей. Вдали же, среди мелких

книжных лавчонок, особняков духовенства, гостиниц и других зданий пришедшего в упадок торгового города, оторванный от жизни, далекий, словно принадлежащий к иному миру, прекрасный собор Лоучестера бесстрастно поднимал к смутным, непостижимым небесам свой простой и изысканный шпиль. Так был устроен наш мир, и иным мы его в юности и не представляли.

Мы на все смотрели по-юношески просто. У нас были свои взгляды, резкие, непримиримые, и тот, кто с нами не соглашался, был в наших глазах защитником грабителей. В том, что происходит грабеж, у нас не было ни малейших сомнений. В этих роскошных домах засели землевладельцы и капиталисты со своими негодьями-юристами и обманщиками-священниками, а все мы, остальные, — жертвы их предумышленных подлостей. Конечно, они подмигивают друг другу и посмеиваются, попивая редкие вина среди своих бесстыдно разодетых и блистательных женщин, и придумывают новые потогонные средства для бедняков. А на другой стороне, среди грязи, грубости, невежества и пьянства, безмерно страдают их невинные жертвы — рабочие. Мы поняли все это чуть ли не с первого взгляда и думали, что нужно лишь решительно и настойчиво твердить об этом — и облик всего мира переменится. Рабочие восстанут, образуют рабочую партию с молодыми, энергичными представителями, вроде Парлода и меня, и добьются своего, а тогда...

Тогда разбойникам придется солоно и все пойдет наилучшим образом...

Если мне не изменяет память, это ничуть не умаляет достоинств того образа мыслей и действий, который нам с Парлодом казался верхом человеческой мудрости. Мы с жаром верили в это и с жаром отвергали вполне естественное обвинение в жестокости подобного образа мыслей. Порой в наших бесконечных разговорах мы высказывали самые смелые надежды на скорое торжество наших взглядов, но чаще мы пылко негодовали на злость и глупость человеческую, которые мешают таким простым и быстрым способом восстановить в мире истинный порядок. Потом нас охватывал гнев, и мы принимались мечтать о баррикадах и о необходимости насильственных мер.

В ту ночь, о которой я рассказываю, я был страшно зол, я та единственная из голов гидры капитализма, которую я представлял

себе достаточно ясно, улыбалась точь-в-точь так, как улыбался старый Роудон, когда отказывал мне в прибавке к жалким двадцати шиллингам в неделю.

Я жаждал хоть как-нибудь отомстить ему, чтобы спасти свое самоуважение, и чувствовал, что, если бы смог убить гидру, я приволок бы ее труп к ногам Нетти и сразу покончил бы также и с этой бедой. «Ну, Нетти, что ты теперь обо мне думаешь?» — спросил бы я.

Вот приблизительно что я тогда чувствовал, и вы можете себе представить, как я жестикулировал и разглагольствовал перед Парлодом в ту ночь. Вообразите наши две маленькие, жалкие черные фигурки среди этой безнадежной ночи пламенеющего индустриализма и мой слабый голос, с пафосом выкрикивающий, протестующий, обличающий...

Наивными и глупыми покажутся вам понятия моей юности, в особенности если вы принадлежите к поколению, родившемуся после Перемены. Теперь все думают ясно и логично, все рассуждают свободно и принимают лишь очевидные и несомненные истины, поэтому вы не допускаете возможности иного мышления. Позвольте мне рассказать вам, каким образом вы можете привести себя в состояние, до известной степени сходное с нашим тогдашним. Во-первых, вы должны расстроить свое здоровье неумеренной едой и пьянством, забросить всякие физические упражнения; должны придумать себе побольше несносных забот, беспокойств и неудобств; должны, кроме того, в течение четырех или пяти дней работать по многу часов ежедневно над каким-нибудь делом, слишком мелким, чтобы оно могло быть интересным, и слишком сложным, чтобы делать его механически, и к тому же совершенно для вас безразличным. После всего этого отправляйтесь прямо с работы в непроветренную, душную комнату и принимайтесь думать о какой-нибудь сложной проблеме. Весьма скоро вы почувствуете, что стали нервны, раздражительны, нетерпеливы; вы начнете хвататься за первые попавшиеся доводы и наудачу делать выводы или их опровергать. Попробуйте в таком состоянии сесть за шахматы — вы будете играть плохо и раздражаться. Попытайтесь заняться чем-нибудь, что потребует ясной головы и хладнокровия, — и у вас ничего не выйдет.

Между тем до Перемены весь мир находился в таком нездоровом, лихорадочном состоянии, был раздражителен, переутомлен и мучился над сложными, неразрешимыми проблемами, задыхаясь в духоте и разлагаясь. Самый воздух, казалось, был отравлен. Здравого и объективного мышления в то время на свете вообще не существовало. Не было ничего, кроме полуистин, поспешных, опрометчивых выводов, галлюцинаций, пылких чувств. Ничего...

Я знаю, что это покажется вам невероятным, знаю, что среди молодежи уже начинают сомневаться в значительности Перемены, которой подвергся мир; но прочтите газеты того времени. Каждая эпоха смягчается в нашем представлении и несколько облагораживается по мере того, как уходит в прошлое. Люди, подобные мне, знающие то время, должны своим точным, беспристрастным рассказом лишить ее этого ореола.

Всегда в наших беседах с Парлодом говорил главным образом я.

Мне думается, что теперь я смотрю на себя в прошлом совершенно беспристрастно: все так изменилось с тех пор, и я действительно стал совсем другим человеком, не имеющим, в сущности, ничего общего с тем хвастливым, сумасбродным юношей, о котором рассказываю. Я нахожу его вульгарным, напыщенным, эгоистичным, неискренним, и он мне совсем не нравится; сохранилась разве что подсознательная симпатия — следствие нашего с ним внутреннего родства. Я сам был этим юношей, и потому могу понять и правильно объяснить мотивы его поступков, лишая его тем самым сочувствия почти всех читателей, — но зачем мне оправдывать или защищать его слабости?

Итак, обычно говорил я, и меня безмерно изумило бы, если б кто-нибудь сказал, что в наших спорах не я был умнейшим. Парлод был молчалив и сдержан, я же обладал даром многословия, столь необходимым молодым людям и демократам. Втайне я считал Парлода несколько туповатым; мне казалось, что он молчанием старается придать себе значительность, старается казаться более «ученым». Я не замечал, что в то время, как мои руки годились лишь для жестикуляции и для того, чтобы держать перо, руки Парлода умели делать всевозможные вещи, и мне не приходило в голову, что

деятельность его пальцев как-то связана и с его мозгом. Не замечал я также и того, что беспрерывно хвастался своим умением стенографировать, своими писаниями, своей незаменимостью для предприятия Роудона, в то время как Парлод никогда не выставлял напоказ своих конических сечений и вычислений, над которыми он «потел» на лекциях. Теперь Парлод знаменит, он стал великим человеком в великое время, его исследования о пересекающихся радиациях невероятно расширили умственный горизонт человечества; я же в лучшем случае только дровосек в умственном лесу, водонос живой воды, и мне остается лишь улыбаться, да и сам он улыбается при воспоминании о том, как покровительственно я говорил с ним, как болтал и важничал перед ним в мрачные дни нашей юности.

В ту ночь меня несло еще безудержней, чем обычно. Роудон был, конечно, осью, вокруг которой вращались мои речи, Роудон и ему подобные хозяева, несправедливость «наемного рабства» и тот промышленный тупик, в который уперлась, по-видимому, наша жизнь. Но все это время я то и дело вспоминал о другом: Нетти не выходила у меня из головы и точно смотрела на меня загадочным взглядом. Моя возвышенная далекая любовь придавала байронический оттенок многим бессмыслицам, которые я изрекал, пытаюсь удивить Парлода, и я ею бравировал.

Не хочу утомлять вас слишком подробным изложением речей неразумного юноши, отчаявшегося и несчастного, которого его собственный голос утешал в горестях и жгучих унижениях. Не могу теперь вспомнить, что именно говорил я тогда и что — в других наших беседах. Не помню, например, раньше ли, позже ли, или именно тогда я, как бы невзначай, намекнул на мое пристрастие к наркотикам.

— Ты не должен этого делать, — сказал внезапно Парлод. — Нельзя отравлять свой мозг.

Мой мозг и мое красноречие должны были сыграть немаловажную роль в грядущей революции.

Но одно место из разговора, который я описываю, я помню твердо: несмотря ни на что, я втайне решил не уходить от Роудона. Я просто чувствовал потребность обругать его перед Парлодом. Но в разговоре я так увлекся, что отступить было невозможно, и я вернулся

домой с твердым намерением держаться со своим нанимателем решительно, если не вызывающе.

— Не могу больше выносить Роудона, — хвастливо сказал я Парлоду.

— Скоро наступит трудное время, — ответил Парлод.

— Да, зимой.

— Нет, раньше. У американцев перепроизводство, они снизят цены. В сталелитейной промышленности будет туго.

— Меня это не коснется. Гончарная стоит твердо.

— А затруднения с бурой? Нет. Я слышал...

— Что ты слышал?

— Это служебная тайна. Но не секрет, что в гончарном деле тоже будут затруднения. Уже идут займы и спекуляции. Предприниматели не ограничиваются, как прежде, одним делом. Это я могу тебе сказать. И двух месяцев не пройдет, как начнется «игра».

Парлод произнес эту необычайно длинную для него речь чрезвычайно рассудительно и веско.

«Игрой» на нашем местном жаргоне называлось такое положение, когда нет ни денег, ни работы, когда предприятия стоят и голодные, мрачные люди слоняются без дела. Такие антракты считались в то время неизбежным следствием промышленного развития.

— Лучше держись за Роудона, — посоветовал Парлод.

— Вот еще! — сказал я, разыгрывая благородное негодование.

— Будет тревожное время, — сказал Парлод.

— Что ж из этого? — возразил я. — Пусть, и чем тревожнее, тем лучше. Рано или поздно этой системе придет конец. Капиталисты со своими спекуляциями и трестами только ухудшают и ухудшают положение. Зачем я буду сидеть у Роудона, поджавши хвост, как побитая собака, когда по улицам шествует голод? Голод — великий революционер. Когда он приходит, мы должны подняться и приветствовать его. Во всяком случае, я намерен так сделать.

— Все это прекрасно... — начал Парлод.

— С меня хватит, — перебил я его. — Я хочу наконец схватиться со всеми этими Роудонами. Если я буду голоден и зол, я, быть может, сумею уговорить голодных...

— У тебя есть мать, — как всегда, медленно и убедительно произнес Парлод.

Это и в самом деле было затруднение.

Но я перескочил через него посредством красивого, витиеватого оборота речи.

— Почему человек должен жертвовать будущностью человечества — или хотя бы своей собственной будущностью — только из-за того, что его мать лишена всякого воображения?

Было уже поздно, когда я расстался с Парлодом и вернулся домой.

Наш дом стоял на маленькой, но весьма почтенной площади, подле приходской церкви Клейтона. Мистер Геббитас, помощник приходского священника, занимал нижний этаж, а во втором жила старая дева мисс Холройд, рисовавшая цветы на фарфоре и содержавшая свою слепую сестру, которая жила тут же, в соседней комнате; мы с матерью жили в подвальном этаже, а спали на самом верху, под крышей. Фасад дома скрывался под виргинским плющом, который разросся, несмотря на душный, пыльный воздух Клейтона, и густыми ветвями свешивался с крыши деревянного портика.

Поднимаясь на крыльцо, я видел, как мистер Геббитас при свете свечи печатает свои фотографические снимки. Это было главным наслаждением его скромной жизни — странствовать в обществе своего курьезного маленького фотографического аппарата для моментальных снимков; он приносил с собой обыкновенно множество негативов с очень плохим и туманным изображением красивых и интересных мест. Фотографическое общество проявляло их ему по сходной цене, и затем он круглый год проводил все свободные вечера, печатая с них фотографии, чтобы навязывать их потом своим ни в чем не повинным друзьям и знакомым. В клейтонской национальной школе висела, например, большая рама, наполненная его произведениями, с надписью, сделанной староанглийским алфавитом: «Виды Италии, снятые во время путешествия преподобного Е.Б.Геббитаса». Ради этого он, по-видимому, только и жил и путешествовал. Это было его единственной настоящей радостью. При свете заслоненной свечи я мог видеть его острый носик, его

бесцветные глазки за стеклами очков, его сжатый от напряжения рот...

— Продажный лжец, — пробормотал я, ибо разве Геббитас не был частью той разбойничьей системы, которая осуждала нас с Парлодом на наемное рабство, хотя частью, конечно, не очень большой.

— Продажный лжец, — повторил я, стоя в темноте, куда не проникал даже слабый отсвет этой обретенной в странствиях культуры...

Мать открыла мне дверь.

Она молча посмотрела на меня, догадываясь, что со мной творится что-то неладное, и зная также, что расспрашивать меня бесполезно.

— Доброй ночи, мама, — сказал я, грубовато поцеловал ее, зажег свечу и, не оборачиваясь, стал подниматься по лестнице в свою комнату...

— Я оставила тебе поужинать, милый.

— Я не буду ужинать...

— Но, мой мальчик...

— Доброй ночи, — повторил я и ушел, захлопнув у нее перед носом свою дверь; свечку я тотчас же задул, бросился на постель и долго лежал, не раздеваясь.

Иногда эта молчаливая мольба матери очень меня раздражала. Так было и в эту ночь. Я чувствовал, что должен бороться против нее, что нельзя уступать ее мольбам, но все это было мне больно и нестерпимо мешало ей противиться. Мне было ясно, что я должен сам для себя продумать религиозные и социальные проблемы, сам решать, как вести себя и насколько разумны или неразумны мои поступки; я знал, что ее наивная вера мне не поможет, но она никогда этого не понимала. Ее религия была общепризнанной и незыблемой, ее единственным социальным принципом было слепое подчинение установленному порядку — законам, докторам, священникам, юристам, хозяевам и другим уважаемым людям, стоявшим выше нас. Для нее верить значило бояться. Хотя я изредка все же ходил с ней в церковь, она по тысяче мелких признаков замечала, что я удаляюсь от всего, что управляет ее жизнью, и ухожу во что-то страшное, неведомое. Из моих слов она догадывалась о том, что я так неискусно

скрывал. Она догадывалась о моем социализме и о моем возмущении против существующего порядка, догадывалась о том бессильном гневе, который наполнял меня ненавистью против всего, что она считала священным. И все же она пыталась защитить не столько своих любезных богов, сколько меня самого! Казалось, ей постоянно хочется сказать мне: «Милый, знаю, что трудно, но бунтовать еще труднее. Не восставай, дорогой мой! Не делай ничего, что может оскорбить бога. Я уверена, что он поразит тебя, если ты его оскорбишь, непременно поразит».

Как многие женщины того времени, она была запугана жестокостью своей религии и потому совершенно покорилась ей. Тогдашний общественный строй сделал ее рабой самых жалких условностей. Он согнул ее, состарил, чуть ли не лишил зрения в пятьдесят пять лет; глядя на меня сквозь свои дешевые очки, она видела меня лишь в тумане; он приучил ее вечно тревожиться, и что он сделал с ее руками — бедными, милыми руками! Во всем свете не найдете вы теперь женщины с руками, так исколотыми иглой, обезображенными работой, такими заскорузлыми, загрубелыми. Одно, во всяком случае, я могу сказать твердо: я ненавидел весь мир и жаждал изменить его и нашу участь не только ради себя, но и ради нее.

И все-таки в ту ночь я грубо оттолкнул ее. Я отвечал ей отрывочными фразами, оставил ее, озабоченную и огорченную, стоять в коридоре и захлопнул перед ней дверь.

Долго лежал я, возмущаясь несправедливостью и жестокостью, презрением ко мне Роудона, холодным письмом Нетти, своей собственной слабостью и незначительностью, всем тем, что я считал невыносимым и не мог изменить. В моем бедном утомленном мозгу безостановочно вертелись все мои горести: Нетти, Роудон, мать, Геббитас... Нетти...

И вдруг — безразличие. Часы где-то пробили полночь. Я был молод, и такие резкие переходы у меня бывали. Помню хорошо, что я вдруг встал, быстро разделся в темноте и заснул, едва коснувшись головой подушки.

Но как спала моя мать в эту ночь, я не знаю.

Как ни странно, но я не обвиняю себя за такое обращение с матерью, хотя за высокомерие с Парлодом очень себя упрекаю. Мне

жаль, что накануне Перемены я вел себя таким образом по отношению к матери, и этот шрам в моем воспоминании о ней будет ныть до конца моих дней, но в тех условиях ничего иного нельзя было и ожидать. В то темное, смутное время нужда, работа, страсти рано захватывали людей, не оставляя их развивающемуся уму времени для свободного, ясного мышления; они погружались в исполнение какой-нибудь узкой, отдельной, но неотложной обязанности, требовавшей непрерывных и напряженных усилий, и их умственный рост приостанавливался. Они черствели и застывали на своей узкой стезе. Немногие женщины старше двадцати пяти лет и немногие мужчины старше тридцати одного — тридцати двух лет были еще способны к восприятию новых идей. Недовольство существующим порядком считалось безнравственным и, уж во всяком случае, неприятным свойством, и только одно противостояло всеобщей склонности человеческих установлений костенеть, ржаветь и работать спустя рукава, все хуже и хуже, неизбежно скатываясь к катастрофе, — это был протест молодежи — зеленой, беспощадной молодежи. Мыслящим людям того времени казалось, что жестокий закон нашего существования допускает лишь две возможности: или молодежь должна покориться старшим и задохнуться, или, не обращая на них внимания, не повинуюсь им, оттолкнув их в сторону, совершить свой робкий шаг по пути прогресса, пока она сама, в свою очередь, не окостенеет и тоже не превратится в препятствие прогрессу.

Мое поведение в ту ночь, то, что я грубо отстранил мать, не ответил ей и погрузился в свои собственные молчаливые размышления, кажется мне теперь своего рода символом трудных отношений между родителями и детьми накануне Перемены. Другого пути не было; эта вечно возрождающаяся трагедия казалась неотъемлемой частью самого прогресса. Мы не понимали в то время, что умственная зрелость не исключает гибкости ума, что дети могут почитать своих родителей и тем не менее думать самостоятельно. Мы были раздражительны и запальчивы, потому что задыхались в темноте, в отравленном, испорченном воздухе. Живой, непредубежденный ум, свойственный сейчас всем людям, решительность, соединенная с осмотрительностью, дух критики и разумная предприимчивость, которые распространены теперь по

всему миру, были неизвестны тогда и несовместимы с затхлой атмосферой старого мира.

Так заканчивалась первая тетрадь. Я отложил ее и стал искать другую.

— Ну что? — опросил человек, который писал.

— Это вымысел?

— Это история моей жизни.

— Но вы... Среди этой красоты... Ведь вы не тот, выросший в горе и нищете молодой человек, о котором я прочел?

Он улыбнулся.

— После того произошла Перемена, — оказал он. — Разве я не ясно дал это понять?

Я хотел задать еще вопрос, но тут увидел вторую тетрадь и сразу же раскрыл ее.

2. Нетти

Не могу припомнить (так продолжался рассказ), сколько времени прошло между тем вечером, когда Парлод впервые показал мне комету, — я, кажется, тогда только притворился, что вижу ее, — и воскресеньем, которое я провел в Чексхилле.

За это время я успел объявить Роудону о своем уходе, действительно уйти от него и заняться усердными, но безрезультатными поисками другого места; успел передумать и наговорить много грубостей матери и Парлоду и пережить много тяжелого. Вероятно, я вел пылкую переписку с Нетти, но бурные подробности ее уже стерлись в моей памяти. Помню только, что я написал великолепное прощальное письмо, отвергая ее навеки, и получил в ответ короткую сухую записку, где говорилось, что если все и кончено между нами, то это еще не дает мне права писать к ней в таком тоне. Я как будто на это ответил что-то, как мне тогда казалось, язвительное, и на этом переписка прервалась. Должно быть, прошло не менее трех-четырёх недель, потому что вначале комета была едва заметным пятнышком на небе и разглядеть ее можно было только в бинокль или подзорную трубу, а теперь она стала большой и белой, светила ярче Юпитера и отбрасывала собственные тени. Она очутилась в центре всеобщего внимания, все говорили о ней и, как только заходило солнце, отыскивали в небе ее все растущее великолепие. В газетах, в мюзик-холлах, на щитах и досках для объявлений — везде упоминалось о ней.

Да, комета уже царила над всем, когда я отправился к Нетти выяснять отношения. Парлод истратил два скопленных им фунта на покупку собственного спектроскопа и мог теперь каждую ночь сам наблюдать эту загадочную, удивительную зеленую линию. Не знаю, сколько раз смотрел я покорно на этот туманный, трепетный символ неведомого мира, мчавшийся на нас из бесконечной пустоты. Но наконец мое терпение истощилось, и я стал горько упрекать Парлода за то, что он тратит свое время на «астрономический дилетантизм».

— Мы находимся накануне величайшего локаута в истории нашего графства, — говорил я. — Начнется нужда, голод; вся система

капиталистической конкуренции сейчас — точно нагноившаяся рана, а ты проводишь все время, глаза на проклятую, дурацкую, ничтожную точку в небе.

Парлод с удивлением взглянул на меня:

— Да, — заговорил он медленно, с расстановкой, как будто это было для него новостью. — Это верно. И зачем это мне?

— Я хочу организовать вечерние митинги на пустыре Хоуденс.

— Ты думаешь, они будут тебя слушать?

— Да. Теперь будут слушать.

— Раньше не слушали, — сказал Парлод, глядя на свой любимый спектроскоп.

— В воскресенье в Суотингли была демонстрация безработных. Они дошли до того, что стали бросать камни.

Парлод молчал, а я продолжал говорить. Он словно что-то обдумывал.

— Но все-таки, — сказал он, неловким движением указывая на спектроскоп, — это тоже что-нибудь да значит.

— Комета?

— Да.

— Ну что она может значить? Ведь не хочешь же ты заставить меня поверить в астрологию! Не все ли нам равно, что там горит на небе, когда на земле голодают люди?

— Но ведь это... наука.

— Наука! Социализм теперь важнее всякой науки.

Но ему не хотелось так легко отказаться от своей кометы.

— Социализм, конечно, нужен, — сказал он, — но если эта штука там, наверху, столкнется с землей, это тоже будет иметь значение.

— Ничто не имеет значения, кроме людей.

— А если она убьет всех?

— Вздор!

— Не знаю... — сказал Парлод, мучительно борясь с собой.

Он взглянул на комету. Он, по-видимому, собирался опять говорить о том, как близко к земле проходит комета, и о том, что это может повлечь за собой, но я предупредил его, начав цитировать что-то из забытого теперь писателя Рескина, представлявшего собой настоящий вулкан красноречия и бессмысленных поучений; Рескин

оказал большое влияние на тогдашнюю легко возбудимую и падкую на красивые слова молодежь. Это было что-то о ничтожности науки и о высшем значении Жизни. Парлод слушал, смотря на небо и касаясь кончиками пальцев спектроסקопа. Наконец он, видимо, решил.

— Нет, — сказал он, — я не согласен с тобой. Ледфорд. Ты не понимаешь, что такое наука.

Парлод очень редко высказывался в наших спорах так категорически. Я привык быть первой скрипкой во всех наших разговорах, и его возражение подействовало на меня, как удар.

— Не согласен со мной! — повторил я.

— Не согласен.

— Но почему?

— Я считаю, что наука важнее социализма, — сказал он. — Социализм — теория. А наука... наука — нечто большее.

Это было все, что он мог сказать.

Мы начали горячо и путано спорить, как это с увлечением делает обычно невежественная молодежь. Социализм или наука? Разумеется, это противопоставление совершенно невозможное, все равно, что спорить о том, что лучше: быть левшой или любить лук. У меня хватило, однако, красноречия на то, чтобы рассердить Парлода, а меня разозлило его несогласие с моими выводами, и спор наш окончился настоящей ссорой.

— Отлично! — воскликнул я. — Теперь по крайней мере все ясно!

Я хлопнул дверью, точно взрывая дом, и в бешенстве зашагал по улице, зная, что, прежде чем я дойду до угла, Парлод уже будет стоять у окна и благоговейно любоваться своей дурацкой зеленой линией.

Мне пришлось по крайней мере с час ходить по улицам, прежде чем я смог успокоиться и вернуться домой.

И этот самый Парлод впервые открыл мне социализм!

Предатель!

Самые нелепые мысли приходили мне в голову в те дикие дни. Должен сознаться, что в этот вечер в моем воображении рисовались одни только революции по лучшим французским образцам: я заседал в Комитете общественной безопасности и судил отступников. Отступник из отступников, Парлод тоже был в их числе; он слишком поздно понял свою роковую ошибку. Его руки были связаны за

спиной, еще минута — и его поведут на казнь; в открытую дверь слышен был голос правосудия — сурового правосудия народа. Я был огорчен, но готов выполнить свой долг.

«Если мы наказываем тех, кто предает нас королям, — говорил я грустно, но решительно, — то тем более должны наказывать тех, кто приносит государство в жертву бесполезной науке». И с чувством мрачного удовлетворения я послал его на гильотину.

«Ах, Парлод, Парлод! Если бы ты послушался меня раньше, Парлод!»

Однако из-за этой ссоры я чувствовал себя глубоко несчастным. Парлод был моим единственным собеседником, и мне очень тяжело было проводить вечера вдаль от него, думать о нем дурно и не иметь никого, с кем бы я мог поговорить.

Тяжелое это было для меня время, даже до моего последнего визита в Чексхилл. Меня томила праздность. Я проводил вне дома весь день, отчасти чтобы показать, что я усердно ищу работу, и отчасти чтобы избежать безмолвного упрека в глазах матери. «Зачем ты поссорился с Роудоном? Зачем ты это сделал? Зачем ты ходишь с мрачным лицом и гневишь бога?» Утро я проводил в газетном зале публичной библиотеки, где писал невероятные просьбы о невероятных должностях: например, я предложил свои услуги конторе частных сыщиков — мрачная профессия, основанная на низменной ревности, теперь, к счастью, исчезнувшая с лица земли. В другой раз, прочитав в объявлениях, что требуются стивидоры^[2], я написал, что хоть я и не знаю, в чем заключаются обязанности стивидора, но надеюсь, что смогу этому научиться. Днем и вечером я бродил среди призрачных огней и теней родной долины и ненавидел весь мир. Наконец моим странствиям был положен предел сделанным мною открытием: мои ботинки износились.

О затяжная, мучительная горячка этих дней!

Я вижу теперь, что у меня был дурной характер, дурные склонности и душу мою переполняла ненависть, но...

Для этой ненависти было оправдание.

Я был неправ, ненавидя отдельные личности, был неправ в своей грубости и мстительности по отношению к тому или другому лицу, но я был бы еще более неправ, если бы безропотно принял условия, предложенные мне жизнью. Теперь я вижу ясно и спокойно то, что

тогда только смутно, хоть и остро чувствовал, вижу, что мои жизненные условия были невыносимы. Моя работа была скучна, трудна и отнимала у меня несообразно громадную часть моего времени; я был плохо одет, плохо питался, жил в плохом жилище, был дурно обучен и воспитан, моя воля была подавлена и мучительно унижена, я потерял уважение к себе и всякую надежду на лучшее будущее. Словом, это была жизнь, не имевшая никакой ценности. Окружавшие меня люди жили не лучше, многие даже хуже, но это было плохое утешение; было бы постыдно довольствоваться такой жизнью. Если некоторые покорялись и смирялись, то тем хуже для всех остальных.

Без сомнения, легкомысленно и безрассудно с моей стороны было отказаться от работы, но в нашей общественной организации все было так неразумно и бесцельно, что я не упрекаю себя ни в чем, жаль только, что это причиняло горе моей матери и тревожило ее.

Подумайте хотя бы о таком многозначительном факте, как локаут.

Это был плохой год, год всемирного кризиса. Вследствие недостатка в разумном руководстве крупнейший стальной трест в Америке, банда предприимчивых, но узколобых владельцев сталелитейных заводов, выработал больше стали, чем могло потребоваться целому миру. (В то время не было способов вычислять заранее такого рода спрос.) Они даже не посоветовались с владельцами сталелитейных заводов других стран. Невероятно расширив производство, они за период своей деятельности привлекли огромное число рабочих. Справедливость требует, чтобы тот, кто поступает так опрометчиво и глупо, сам нес всю ответственность за это, но в то время виновники таких бедствий вполне могли свалить с себя на других почти все последствия своей недальновидности. Никто не видел ничего страшного в том, что пустоголовый «кормчий промышленности», вовлекший своих рабочих в пропасть перепроизводства, то есть неумеренное производство отдельного продукта, затем бросал их в беде, попросту увольнял; не было также в то время способов предотвратить внезапное, бешеное понижение цен, чтобы переманить к себе покупателей от конкурента, разорить его и частично возместить свои убытки за его счет. Такая внезапная распродажа по бросовым ценам известна под названием демпинга. Вот таким демпингом и занимались в тот год на английском рынке

американские стальные магнаты. Английские предприниматели, разумеется, старались по возможности переложить свои потери на рабочих, и, кроме того, они добивались какого-нибудь закона, который предотвратил бы не бессмысленное перепроизводство, а демпинг, — не самую болезнь, а ее последствия. Тогда еще не знали, как можно предупредить демпинг или устранить причину несогласованного производства. Впрочем, это никого не интересовало, и в ответ на это требование образовалась своеобразная партия воинствующих протекционистов, соединивших смутные проекты судорожных контратак на иностранных промышленников с весьма ясным намерением пуститься в финансовые авантюры. Бесчестность и безрассудство этого движения так бросались в глаза, что это еще усиливало атмосферу всеобщего недоверия и беспокойства, а боязнь, что государственная казна может попасть в руки этих «новых финансистов», была так велика, что иные государственные деятели старого закала вдруг начинали утверждать, что никакого демпинга вообще нет либо что это очень хорошо. Никто не хотел доискиваться правды, никто не хотел действовать. Стороннему наблюдателю все это могло показаться какой-то легковесной болтовней. Мир потрясают одна за другой невероятные экономические бури, а болтуны продолжают болтать. Цены, заработки — все рушится, как башни при землетрясении, а страдающие, сбитые с толку, неорганизованные рабочие массы выбиваются из сил, влачат жалкое существование и бессильны что-либо изменить, хоть и выражают порой яростный, но бесплодный протест.

Вам не понять теперь беспомощность тогдашнего строя. Одно время в Америке жгли не находившую сбыта пшеницу, а в Индии люди буквально умирали с голоду. Это похоже на дурной сон, не правда ли? Все это и было сном, таким сном, от которого никто не ждал пробуждения.

Нам, молодым, рассуждавшим с юношеской прямолинейностью и непримиримостью, казалось, что стачки, локауты, кризисы перепроизводства и все другие наши несчастья не могут быть следствием простого невежества и отсутствия мыслей и чувств. Нам казалось, что тут действуют какие-то более трагические силы, а не просто недомыслие и невежество. Поэтому мы прибегали к обычному утешению несчастных и темных: мы верили в жестокие и

бессмысленные заговоры против бедняков — мы их так и называли — заговорами.

Все, о чем я рассказываю, вы можете увидеть в любом музее: там есть карикатуры на капиталистов и рабочих, украшавшие немецкие и американские газеты того времени.

Я порвал с Нетти красивым письмом и воображал, что все кончено раз и навсегда. «Женщины для меня больше не существуют», — объявил я Парлоду, и затем больше недели длилось молчание.

Но еще до конца недели я уже спрашивал себя с волнением, что произойдет между нами дальше.

Я постоянно думал о Нетти, то с мрачным удовлетворением, то с раскаянием, представляя, как она жалеет и оплакивает полный и окончательный разрыв между нами. В глубине души я не больше верил в конец наших отношений, чем в конец мира. Разве мы не целовались, разве не преодолели мы нашу полудетскую робость и застенчивость и не поверяли друг другу шепотом самое заветное? Конечно, она принадлежит мне, а я ей, наша разлука, ссоры, охлаждение — всего лишь узоры на фоне вечной любви. Так по крайней мере я чувствовал разрыв, хотя мысль моя принимала различные формы и направления.

К концу недели мое воображение неизменно возвращалось к Нетти, целые дни я думал о ней и видел ее во сне по ночам. В субботу ночью мне приснился особенно яркий сон. Ее лицо было красно и мокро от слез, волосы растрепались; когда я заговорил с ней, она от меня отвернулась. Этот сон почему-то произвел на меня тяжелое и тревожное впечатление. Утром я жаждал увидеть ее во что бы то ни стало.

В то воскресенье матери особенно хотелось, чтобы я пошел с ней в церковь. У нее была для этого двойная причина: она, конечно, надеялась, что посещение церкви благоприятно скажется на моих поисках работы в течение следующей недели, а кроме того, мистер Геббитас, загадочно сверкая очками, пообещал ей постараться что-нибудь сделать для меня, и ей хотелось напомнить ему об этом. Я согласился, но желание видеть Нетти оказалось сильнее. Я сказал

матери, что не пойду с ней в церковь, и в одиннадцать часов отправился пешком за семнадцать миль, в Чексхилл.

Долгий путь казался еще более утомительным из-за ботинок. Подошва на носке одного ботинка отстала, а когда я срезал хлопавший кусок, то вылез гвоздь и принялся терзать меня. Зато ботинок после этой операции стал выглядеть более прилично и ничем не выдавал моих мучений. Я поел хлеба с сыром в небольшом трактире по дороге и к четырем часам был уже в чексхиллском парке. Я не пошел мимо дома, по большой дороге, заворачивающей к саду, а двинулся прямо через холм, около второй сторожки и вышел на тропинку, которую Нетти называла своей. Это была совсем дикая тропинка. Она вела к миниатюрной долине через красивую лощину, где мы обыкновенно встречались, а потом через заросли остролиста, вдоль живой изгороди, к саду.

Я очень живо помню, как шел через этот парк и внезапно встретил там Нетти. Весь долгий предыдущий путь свелся в моем воспоминании к пыльной дороге и к ботинку с гвоздями, но лощина, поросшая папоротником, нахлынувшие на меня сомнения и опасения и теперь представляются мне чем-то значительным, незабываемым, важным для понимания всего, что произошло затем. Где встречу я ее? Что она скажет? Я и раньше задавал себе эти вопросы и находил ответ. Теперь они опять возникли, но в ином смысле, и я не нашел ответа. По мере того как я приближался к Нетти, она переставала быть для меня только целью моих эгоистических устремлений, только предметом моей мужской гордости — она воплотилась в живое существо и стала самостоятельной личностью, личностью и загадкой, сфинксом, от которого я ускользнул лишь для того, чтобы снова с ним встретиться.

Мне трудно описать вам понятней любовь в старом мире.

Мы, молодежь, в сущности, не были подготовлены к волнениям и чувствам юности. От нас все держалось в тайне, нас ни во что не посвящали. Были, правда, книги, романы, все на редкость тенденциозного склада, считавшие необходимыми свойствами любви полнейшее взаимное доверие, абсолютную верность, вечную преданность, и это только усиливало естественное желание испытать это чувство. Многое существенное в сложном явлении любви было от нас совершенно скрыто. Мы случайно прочитывали что-нибудь об

этом, случайно замечали то или другое, удивлялись, затем забывали и так росли. Потом возникали странные ощущения, новые, пугающие желания, чувственные сны; необъяснимые побуждения к самоотверженности начинали чудодейственно струиться среди привычных, чисто эгоистических и материалистических интересов мальчиков и девочек. Мы были подобны неопытным путникам, разбившим лагерь в сухом русле тропической реки, — внезапно мы оказывались по колени, а потом и по горло в воде. Наше «я» внезапно вырывалось на поиски другого существа, и мы не знали, почему. Нас мучила эта новая жажда — посвятить себя служению существу другого пола. Мы стыдились, но нас томили желания. Мы скрывали это, как преступную тайну, и были полны решимости удовлетворить эти желания наперекор всему миру. В таком состоянии мы совершенно случайно сталкивались с каким-нибудь другим, так же слепо ищущим существом, и атомы соединялись.

Из прочитанных книг, из всех слышанных нами разговоров мы знали, что, раз соединившись, мы соединяемся навеки.

А потом мы открывали, что другое существо тоже эгоистично, что у него есть свои мысли и стремления и что они не совпадают с нашими.

Так жила и чувствовала молодежь моего класса и большинство молодых людей нашего мира.

Так я искал Нетти в воскресенье днем и внезапно увидел ее перед собой — легкую, женственно стройную, с карими глазами, с нежным, милым, юным личиком, затененным полями соломенной шляпки, — прелестную Венеру, которая должна была — я твердо решил это — быть только и исключительно моей.

Не замечая моего присутствия, стояла она, воплощение женственности, воплощение всей моей внутренней жизни и тем не менее отдельная от меня, неведомая мне личность, такая же, как я сам.

Она держала в руке открытую книгу, как будто читала ее на ходу, но это только казалось; на самом деле она стояла неподвижно, смотрела по направлению сероватой мшистой живой изгороди и... как бы прислушивалась. На ее полуоткрытых губах скользила тень сладостной улыбки.

Я живо помню, как она вздрогнула, услышав мои шаги, как изумилась, как взглянула на меня почти с ужасом. Я мог бы, наверное, и сейчас повторить каждое слово, сказанное ею при этой встрече, и почти все то, что я ей говорил. Мне так кажется, хотя, быть может, я и ошибаюсь. Но я не стану даже пытаться. Мы оба были слишком дурно воспитаны, чтобы правильно выразить то, что думали, и потому мы облекали свои чувства в неуклюжие, избитые фразы; вы, получившие лучшее воспитание, не поняли бы, что именно мы хотели сказать, и разговор наш показался бы вам пустым. Но наши первые слова я приведу, потому что хотя тогда я не обратил на них особого внимания, потом они сказали мне очень многое.

— Вилли! — воскликнула она.

— Я пришел... — начал я, мгновенно забывая все заранее приготовленные красивые слова. — Я хотел застать тебя врасплох.

— Врасплох, меня?

— Да.

Она пристально посмотрела на меня. Я и теперь еще вижу перед собой ее милое, непроницаемое для меня лицо. Она как-то странно усмехнулась и слегка побледнела, но только на мгновение.

— Застать меня врасплох? Разве я что-нибудь скрываю? — спросила она вызывающе.

Я был слишком занят своими объяснениями, чтобы задуматься над ее словами.

— Я хотел сказать тебе, — начал я, — что все это не серьезно... все то, что я написал в письме.

Когда нам с Нетти было по шестнадцать лет, мы были вполне ровесниками. Теперь же мы стали старше почти на год и девять месяцев, и она... ее метаморфоза уже почти закончилась, а я еще только начинал становиться мужчиной.

Она сразу все поняла. Тайные мотивы, руководившие ее маленьким, быстро созревшим умом, мгновенно, интуитивно подсказали ей план действий. Она обращалась со мною, как молодая женщина с мальчиком, она видела меня насквозь.

— Но как ты добрался сюда? — спросила она.

Я сказал, что пришел пешком.

— Пешком! — В следующую секунду она уже вела меня в сад. Я, должно быть, сильно устал. Я должен сейчас же пойти с ней к ним и отдохнуть. Скоро будет чай. (Стюарты по старинному обычаю пили чай в пять часов.) Все будут так удивлены, когда увидят меня.

— Пешком! Подумать только! Впрочем, мужчинам семнадцать миль, наверно, кажутся пустяком. Когда же ты вышел из дому?

И всю дорогу она держала меня в отдалении, я даже не коснулся ее руки.

— Но, Нетти! Ведь я пришел поговорить с тобой.

— Сперва напьемся чаю, мой милый мальчик. Да и, кроме того, мы ведь разговариваем, разве нет?

«Милый мальчик» было ново и звучало так дико.

Она немного ускорила шаг.

— Мне надо тебе объяснить.

Но ничего объяснить мне не удавалось. Я сказал несколько бессвязных фраз, на которые она отвечала не столько словами, сколько интонацией.

Когда мы миновали живую изгородь, она пошла чуть медленнее, и так мы спустились по склону между буками к саду. Она все время смотрела на меня ясными, честными девичьими глазами. Но теперь-то я знаю, что через мое плечо она то и дело оглядывалась на изгородь. И что, несмотря на свою легкую, непрерывную, хоть иногда и бессвязную болтовню, она все время о чем-то думала.

Ее внешность и одежда как бы завершали и подчеркивали происшедшую в ней перемену.

Смогу ли я припомнить и подробно описать ее?

Боюсь, что не смогу, — в тех терминах, которые употребила бы женщина. Но ее блестящие каштановые волосы, что прежде спускались по спине веселой косой, перехваченной красной ленточкой, уложены были теперь красивыми локонами над ее маленькими ушами, над щеками и мягкими линиями шеи; ее белое платье было длинным; тонкая талия, бывшая прежде чисто условным понятием, как в географии линия экватора, стала теперь гибкой и изящной. Год назад это было всего лишь милое девичье личико над неприметным платьицем да пара очень резвых и быстрых ног в

коричневых чулках. Теперь под ее белым платьем заявляло о себе странное, незнакомое мне пышное тело. Все ее движения, в особенности новый для меня плавный жест руки, когда она подбирала непривычно длинное платье и при этом грациозно наклонялась вперед, очаровывали меня. Какой-то пробудившийся инстинкт научил ее набросить на плечи цветной шарф — мне кажется, вы назвали бы это шарфом, — из зеленой паутины, который то плотно прилегал к округлым линиям молодого тела, то вдруг взвивался под дуновением ветра и, точно нежные щупальца, робко касался моей руки, будто желая сообщить мне что-то по секрету.

В конце концов она поймала шарф и укоризненно сжала его концы.

Через зеленые ворота мы прошли за высокую ограду сада. Я отворил их перед ней — это входило в скудный запас моих чопорных правил вежливости — и отступил; проходя, она на мгновение почти прикоснулась ко мне. Мы миновали домик садовника, нарядные клумбы и стеклянные теплицы слева, прошли по дорожке, обрамленной цветочным бордюром, между клумбами бегоний под тень тисов, в двадцати шагах от того самого пруда с золотыми рыбками, на берегу которого мы клялись друг другу в верности. Так мы дошли до украшенного глициниями крыльца.

Двери были широко открыты. Нетти вошла первая.

— Угадайте, кто пришел к нам! — воскликнула она.

Отец что-то неразборчиво ответил из гостиной, скрипнуло кресло; я догадался, что мы потревожили его послеобеденный сон.

— Мама! Пус! — позвала она своим звонким, молодым голосом.

Пус была ее сестра.

Нетти сообщила им с веселым восхищением, что я шел пешком от самого Клейтона; все окружили меня и тоже выражали изумление.

— Ну, уж теперь, когда вы пришли, сейчас же садитесь, Вилли. Как поживает ваша матушка? — говорил отец Нетти, поглядывая на меня с любопытством.

На нем был праздничный костюм из коричневатого твида, но жилет ради удобства послеобеденного сна он расстегнул. Это был здоровый, румяный человек с карими глазами и очень эффектными рыжими бакенбардами, которые тянулись от висков до самой бороды — я и теперь вижу их перед собой. Его небольшой рост подчеркивал

крепкое сложение; борода и усы были самыми яркими чертами его облика. Нетти унаследовала от него все красивое: белую кожу, блестящие карие глаза — и соединила это с живостью, полученной от матери. О ее матери у меня осталось воспоминание как о быстроглазой, чрезвычайно деятельной женщине. Мне кажется теперь, что она постоянно приносила или уносила какое-нибудь кушанье или еще что-нибудь; со мной она всегда была добра и приветлива, ибо очень хорошо относилась к моей матери, да и ко мне тоже. Пус была девочка лет четырнадцати, я помню только ее холодные, блестящие глаза и бледное лицо, как у матери. Все они принимали меня очень дружелюбно; они считали меня «способным», и это мнение иногда выражалось очень лестным для меня образом. Теперь они окружили меня, и лица у них были довольно растерянные.

— Да садитесь же! — повторил отец. — Пус, принеси ему стул.

Разговор не клеился. Их, очевидно, удивляло мое внезапное появление и мой вид — я был усталый, бледный, пыльный; но Нетти и не думала поддерживать разговор.

— Ну вот, — воскликнула она внезапно и словно с досадой. — Подумать только! — И выскочила из комнаты.

— Господи! Что за девочка! — сказала миссис Стюарт. — Не знаю, что с ней делается.

Нетти вернулась только через полчаса. Ожидание показалось мне томительным, но она, видимо, бежала, так как совсем запыхалась. Без нее я мимоходом упомянул, что бросил службу у Роудона.

— Нечего мне там прозябать, — небрежно добавил я.

— Я забыла книгу в лошине, — сказала Нетти, все еще задыхаясь. — Ну, что чай?.. Готов?

И даже не извинилась.

Но натянутую атмосферу не разрядил и чай. В доме старшего садовника чай пили основательно: подавались разные кексы, варенье, фрукты, и стол накрывался нарядной скатертью. Я сидел надутый, неловкий, встревоженный всем тем загадочным и неожиданным, что подметил в Нетти, говорил мало и только бросал на нее через кексы сердитые взгляды. Все красноречие, которое я подготавливал в течение целых суток, куда-то испарилось. Отец Нетти пытался вызвать меня на разговор. Ему нравилась и его удивляла моя способность говорить легко и свободно, тогда как он сам выражал

свои мысли с большим трудом. Действительно, у них я был еще разговорчивей, чем с Парлодом, хотя вообще при посторонних был неловок и застенчив. «Вам бы следовало написать это в газеты. Непременно напишите. В жизни не слышал такой ерунды!» — часто говорил мне мистер Стюарт. Или: «Ну и язык же у вас, молодой человек! Вам бы следовало стать адвокатом».

Но на этот раз я не блеснул даже в его глазах. Не находя других предметов для разговора, он вернулся к моим поискам нового места, но я даже тут не разговорился.

Долгое время я боялся, что мне придется вернуться в Клейтон, так и не сказав Нетти больше ни слова; она словно не замечала, что я ищу случая переговорить с ней, и я уже подумывал, не попросить ли ее выслушать меня вот так, при всех. Но мать Нетти, внимательно наблюдавшая за мной, прибегла к прозрачной хитрости, послав нас обоих, не помню с каким поручением, в одну из оранжерей. Поручение было какое-то пустое: дверь запереть или закрыть окно — всем было ясно, что это только предлог, и, наверно, мы его не выполнили.

Нетти нехотя послушалась. Она повела меня через одну из теплиц. По сторонам низкого, душного коридора с кирпичным полом стояли на подставках горшки с папоротниками, а за ними какие-то высокие растения, ветки которых были наверху расправлены и прикреплены так, что образовался густой лиственный свод. В этом тесном зеленом уединении она вдруг остановилась и обернулась, глядя мне в лицо, точно загнанный зверек.

— Красивые волосатики, правда? — сказала она, а глаза ее говорили: «Начинай».

— Нетти, — смущенно сказал я, — я был просто дураком, что написал тебе...

К моему изумлению, на ее лице я прочел, что она того же мнения. Но она ничего не ответила.

— Нетти! — решил я. — Я не могу без тебя, я люблю тебя.

— Если бы ты меня любил, ты бы никогда не написал таких вещей, — сказала она укоризненно, глядя на свои белые пальцы, перебиравшие листья папоротника.

— Но я не думаю того, что писал. По крайней мере, не всегда думаю.

На самом деле мне очень нравились мои письма, и я считал, что со стороны Нетти очень глупо этого не понимать, но в данную минуту, разумеется, убеждать ее в этом было незачем.

— И все-таки ты это написал.

— А потом прошел семнадцать миль, чтобы сказать тебе, что я этого вовсе не думаю.

— Да. Но, может быть, все-таки думаешь.

Я растерялся и только пробормотал:

— Нет, не думаю.

— Тебе кажется, что ты... что ты любишь меня, Вилли, но это не так.

— Люблю! Нетти! Ты и сама знаешь, что люблю!

Она покачала головой.

И тут я прибег к самому героическому средству.

— Нетти, — сказал я, — ты мне дороже, чем... даже чем мои взгляды.

Она все еще не поднимала глаз от цветка.

— Это тебе сейчас так кажется, — сказала она.

Я разразился бурными протестами.

— Нет, — сказала она кратко, — теперь все изменилось.

— Как могли два письма все изменить?! — воскликнул я.

— Не в одних письмах дело, — отвечала она, — но все изменилось. И навсегда.

Она сказала это медленно, словно подыскивая выражения. Потом вдруг взглянула на меня и сделала легкий жест, показывающий, что разговор окончен.

Но я не допускал такого конца.

— Навсегда?... Нет!.. Нетти! Нетти! Ты говоришь это не серьезно!

— Серьезно, — ответила она с твердостью, глядя на меня, и во всем ее облике сквозила решимость. Она точно внутренне приготовилась к взрыву протеста с моей стороны.

Разумеется, я разразился целым потоком слов, но они ее не трогали. Он стояла, как неприступная крепость, и, словно пушечными выстрелами, сметала своими возражениями мои беспорядочные словесные атаки. Я помню, что наш разговор свелся к нелепому спору

о том, могу я ее любить или нет. Она стояла передо мною, непостижимо далекая и недоступная, красивая, как никогда, и это приводило меня в отчаяние.

Я уже говорил, что раньше, при встречах, мы всегда чувствовали взаимную близость, какое-то запретное, сладкое волнение.

Я умолял, доказывал. Я пытался объяснить ей, что даже грубые, непонятные письма я писал, желая быть ближе к ней. Я преувеличенно красиво расписывал, как я мечтал о ней, когда мы были в разлуке, и какой удар, какое мучение для меня найти ее такой чужой и холодной. Она смотрела на меня, видела мое волнение, но оставалась глуха к моим словам. Теперь эти слова, хладнокровно записанные на бумаге, могут показаться жалкими и слабыми, но тогда я был уверен в своем красноречии. Я говорил от всего сердца, я весь сосредоточился на одном чувстве. С полнейшей искренностью старался я передать ей то, что чувствовал при разлуке с нею, и выразить всю силу своей любви. Упорно, с усилиями и страданиями пробирался я к ее душе сквозь джунгли слов.

Выражение ее лица наконец начало изменяться с той неуловимой постепенностью, с какой светлеет на рассвете безоблачное небо. Я почувствовал, что растрогал ее, что ее жестокость тает, решимость смягчается, что она колеблется. Она еще не забыла нашу прежнюю близость. Но она не хотела сдаваться.

— Нет! — воскликнула она вдруг, встрепенувшись.

Она положила руку мне на плечо. Удивительная, новая мягкость послышалась в ее голосе.

— Это невозможно, Вилли. Все изменилось теперь, все. Мы ошиблись. Мы были оба глупыми подростками, и оба ошиблись. Теперь все изменилось навсегда. Это так.

Она повернулась и пошла прочь.

— Нетти! — закричал я и, продолжая умолять, шел за ней по узкому проходу к дверям теплицы. Я преследовал ее, как обвинитель, а она уходила от меня, как виноватая, которой стыдно своего поступка. Так вспоминается мне это теперь.

Больше мне не удалось с ней поговорить.

И все же я видел, что мои слова совершенно уничтожили ту преграду, которая возникла между нами при встрече в парке. Я то и дело ловил на себе взгляд ее карих глаз. Они выражали что-то новое —

будто удивление, что между нами есть какая-то связь, сожаление, сочувствие. И при этом какой-то вызов.

Когда мы вернулись, я стал более свободно разговаривать с ее отцом о национализации железных дорог, сознание, что я могу еще влиять на Нетти, настолько улучшило мое настроение, что я даже шутил с Пус. Поэтому миссис Стюарт решила, что дело обстоит гораздо лучше, чем было на самом деле, и сияла от удовольствия.

Но Нетти оставалась задумчивой и мало говорила. Она была в каком-то недоумении, которого я не мог разгадать. Скоро она незаметно покинула нас и ушла наверх.

Я натер ногу и не мог вернуться в Клейтон пешком, но у меня в кармане был один шиллинг и пенни — этого хватило бы на билет от Чексхилла до Второй Мили, и я решил проехать хоть это расстояние по железной дороге. Когда я собрался уходить, Нетти неожиданно высказала необычайную заботливость обо мне. Я должен идти по большой дороге, утверждала она: сейчас слишком темно, чтобы пробираться напрямик к воротам сада.

Я напомнил, что ночь лунная.

— Да еще комета в придачу, — добавил старый Стюарт.

— Нет, — настаивала она, — ты должен идти по большой дороге.

Я не соглашался.

Она стояла рядом.

— Ради моего удовольствия, — умоляюще шепнула она, сопровождая слова выразительным взглядом, удивившим меня.

«Какое в этом может быть удовольствие?» — недоумевал я.

Быть может, я и согласился бы, если бы она не продолжала убеждать меня.

— Под остролистами подле изгороди темно, как в колодце. И еще эти борзые...

— Я не боюсь темноты, — возразил я. — Да и собак тоже.

— Но это ужасные собаки! А что, если хоть одна отвязана?

Это был аргумент девочки, которая не понимает, что темнотой и собаками можно напугать лишь особ ее пола. Я и сам без удовольствия думал об изголодавшихся огромных собаках, рвущихся с цепи, и о том концерте, который они зададут, услышав запоздалые

шаги у лесной опушки, но поэтому-то и решил не уступать. Подобно большинству людей с живым воображением, я легко поддавался страху и искушению избегать риска и постоянно старался искоренять в себе эти чувства и скрывать их от других, и потому отказался от кратчайшего пути, когда могло показаться, что причина этому — полдюжины собак, почти наверное привязанных на цепь, было невозможно.

Таким образом, наперекор Нетти я мужественно пустился в путь, чувствуя себя храбрецом и радуясь легкой возможности доказать свою храбрость, но слегка огорченный тем, что Нетти может остаться недовольна.

Месяц скрылся за тонким облачком, тропинка под буками была едва заметна. Я не был настолько поглощен своими любовными делами, чтобы забыть одну предосторожность, которую — должен сознаться — я всегда принимал, идя ночью по этому дикому и уединенному парку. Я вложил большой камень в один конец свитого из платка жгута, а другой конец обвязал вокруг кисти своей руки. Вложив это оружие в карман, я пошел более уверенно.

Наконец я вышел из чащи остролиста к углу изгороди и вздрогнул — передо мной был молодой человек во фраке, с сигарой в руке.

Я шел по дерну, мои шаги были не слышны. Он стоял освещенный луной, и его сигара мерцала, как кроваво-красная звезда, а я приближался к нему невидимкой в густой тени, но тогда я этого не понял.

— Добрый вечер, — крикнул он с шутливым вызовом. — Я пришел первый.

— А мне-то что до этого? — сказал я, выходя из тени.

Я неверно истолковал его слова. Между обитателями господского дома и деревенскими жителями постоянно возникали споры о праве пользования этой тропинкой. Я знал об этом споре, и нечего говорить, на чьей стороне были мои симпатии.

— Что?! — воскликнул он в изумлении.

— Вы думаете, я побегу, — сказал я и пошел прямо на него.

Его фрак, его воображаемый вызов разбудили во мне всю накопившуюся ненависть к людям его класса. Я знал его. Это был Эдуард Веррол, сын человека, которому принадлежало не только это огромное поместье и более половины гончарен Роудона, но также

акции, угольные копи, поместья, земли, сдающиеся в аренду, по всему округу Четырех городов. Молодой Веррол был благородный и способный юноша — так про него говорили. Несмотря на его молодость, поговаривали о его кандидатуре в парламент; он хорошо учился в университете, и его всячески пропагандировали в нашей среде. С уверенностью и легкостью, как нечто само собой разумеющееся, он получал и принимал такие преимущества, за которые я пошел бы даже на пытку, а между тем, по моему твердому убеждению, я заслуживал их больше, чем он. И вот теперь он стоял предо мною, как олицетворение всего, что наполняло меня злобой. Однажды он остановился в своем автомобиле около нашего дома, и я задрожал от бешенства, заметив почтительное восхищение в глазах матери, когда она смотрела на него из-за занавески.

— Это молодой мистер Веррол, — сказала она. — Говорят, он очень умный.

— Еще бы им не говорить! — ответил я. — Черт бы побрал и его и их.

Но это все между прочим.

Он был явно поражен, увидев перед собой мужчину.

— Это еще кто такой? — спросил он совсем другим тоном.

Я доставил себе дешевое удовольствие, ответив, как эхо:

— А это еще кто такой?

— И что дальше? — спросил он.

— Я буду ходить по этой тропинке, сколько мне угодно, — заговорил я. — Понятно? Это общая тропинка, она принадлежит всем так же, как прежде принадлежала и эта земля. Землю вы украли — вы и вам подобные, — теперь вы хотите отнять у нас право ходить по ней. Скоро вы потребуете, чтобы мы вообще убирались с лица земли. Я вам уступать не намерен. Понятно?

Я был ниже его ростом и, вероятно, года на два моложе, но моя рука уже сжимала самодельный кистень в кармане, и я бы с радостью подрался с ним. Он отступил на шаг, когда я к нему приблизился.

— Вы, наверно, социалист? — сказал он настороженно, но спокойно и чуть насмешливо.

— Один из многих.

— Мы все теперь социалисты, — заметил он философски, — и я не имею ни малейшего намерения оспаривать ваше право идти по

тропинке.

— Попробовали бы вы! — сказал я.

— Ни малейшего, — повторил он.

— То-то.

Он вновь сунул сигару в рот; наступила короткая пауза.

— Вы идете к поезду? — спросил он.

Не ответить было бы нелепо.

— Да, — отрезал я.

Он заметил, что в такой вечер приятно прогуляться.

Я колебался еще с минуту, но он стоял в стороне, дорога была свободна; мне, по-видимому, ничего не оставалось, как пойти дальше.

— Доброй ночи, — сказал он, когда я двинулся.

Я глухо буркнул то же самое.

Идя пустынной тропинкой, я чувствовал себя, точно бомба, начиненная проклятиями и готовая взорваться. Из нашего столкновения он, несомненно, вышел победителем.

Затем последовало необычайно ярко сохранившееся в моей памяти странное сплетение двух совершенно различных событий.

Когда я шел по последнему открытому лугу, перед Чексхиллской станцией, то заметил, что у меня две тени.

Это поразило меня и прервало мои мысли. Помню, как я вдруг заинтересовался этим явлением. Я резко обернулся и стоял, глядя на месяц и большую белую комету, внезапно вынырнувшую из облаков.

Комета стояла от луны градусов на двадцать. Как красив был этот зеленовато-белый призрак, паривший в темно-синей глубине! Комета казалась ярче луны, потому что была меньше, но отбрасывала тень не такую черную, хотя и отчетливую... Заметив это, я пошел дальше, наблюдая за двумя бегущими передо мной тенями.

Я совершенно не помню хода моих мыслей в те минуты. Но внезапно — так внезапно, как если бы вдруг, завернув за угол, я на что-то наткнулся, — комета начисто исчезла из моего сознания, и у меня явилась новая мысль. Мне иногда приходит в голову, что мои две тени — одна женственно нежная и более короткая — внушили мне ее. Как бы там ни было, но в это мгновение я с уверенностью интуиции

понял, зачем стоял у ограды сада молодой человек во фраке. Он ждал Нетти!

Стоило только этой мысли появиться, как все стало на свое место. Все недоумения этого дня, таинственная, невидимая преграда между мной и Нетти, что-то невыразимо странное в ней и ее поведении — все стало ясно и понятно.

Я знал теперь, почему она смутилась при моем появлении, зачем вышла из дому в этот послеобеденный час, почему так спешила увести меня в дом; знал, какова была та «книга», за которой она бегала, и знал также, зачем ей было нужно, чтобы я пошел на станцию по большой дороге. Все объяснилось в одно мгновение.

Вообразите себе, как я стоял, — маленький, черный человечек, точно громом пораженный и вдруг замерший на месте, как я потом снова двинулся вперед, крича что-то нечленораздельное и бессильно размахивая руками, а две тени все бежали вперед, словно насмехаясь надо мной. И кругом широкий, облитый лунным светом луг в рамке неясных, как мираж, далеких и низких деревьев, и надо всем этим ясный купол чудесной светлой ночи.

На минуту мое открытие оглушило меня; мысль как бы оцепенела, разглядывая плоды своего труда, а ноги машинально несли меня по прежней дороге, и вот уже в теплой вечерней темноте засветились неяркие огоньки станции Чексхилл...

Помню почти безумный взрыв бешенства, когда я внезапно очнулся, один в грязном отделении тогдашнего третьего класса. Я вскочил с криком разъяренного животного и изо всей силы стукнул кулаком деревянную стенку...

Странно: я совсем не помню своего состояния непосредственно после этого момента, но знаю, что затем — через минуту, быть может, — я уцепился за поручни вагона и хотел было спрыгнуть с поезда. Это должен был быть драматический прыжок, а потом я вернусь к ней, обличу ее и подавлю ее своим презрением. И так я висел, убеждая себя прыгнуть. Не помню, почему и как я раздумал, но, во всяком случае, не прыгнул.

Когда поезд остановился на ближайшей станции, я уже не думал о возвращении. Я сидел в углу, засунув под мышку свой ушибленный кулак, и, не замечая боли, старался обдумать как можно

обстоятельнее план действий — действий, которые выразили бы всю
безмерность моего негодования.

3. Револьвер

— Эта комета столкнется с землей, — сказал один из двух пассажиров, вошедших в вагон.

— Неужели? — отозвался другой.

— Говорят, она из газа, эта комета. Не разорвет нас? Как полагаете?..

Какое мне было дело до всего этого?

Я думал только о мести, столь чуждой всему моему существу. Думал о Нетти и ее возлюбленном. Я твердо решил, что она ему не достанется, хотя бы для этого мне пришлось убить их обоих. О том, что за этим последует, я не думал, лишь бы сделать это. Все мои неудовлетворенные страсти обратились в бешенство. В ту ночь я без колебаний согласился бы на вечные мучения ради возможности отомстить. Тысячи вероятностей, сотни бурных предположений, целый вихрь отчаянных планов пронеслись в моем оскорбленном, ожесточенном сознании. Чудовищное, неумолимо жестокое отмщение за мое поруганное «я» — иного выхода для меня не было.

А Нетти? Я все еще любил ее, но уже с мучительной ревностью, с острой, безмерной ненавистью поруганной гордости и обманутой страсти.

За свой шиллинг и пенни я смог доехать только до Второй Мили, а дальше пришлось идти пешком. Помню, как, спускаясь с Клейтон-Крэста, я услышал визгливый голос, проповедовавший что-то небольшой праздничной толпе зевак при свете газового фонаря у щита для афиш. Бойкий, невысокий человек, с белокурой кудрявой бородкой, с такими же волосами и водянистыми голубыми глазами, говорил о приближающемся конце мира.

Я, кажется, в первый раз услышал тогда сопоставление конца мира с кометой, и все это перемежалось международной политикой и пророчествами Даниила.

Я остановился на минуту, в сущности, только потому, что мне преградила дорогу толпа слушателей, а затем меня поразило

странное, дикое выражение его лица и его указующий в небо палец.

— Наступает конец вашим порокам и прегрешениям! — кричал он. — Там! Там, вверху, звезда страшного суда! Всем людям предначертано погибнуть! Всех ждет смерть! — Тут его голос перешел в какое-то тоскливое завывание. — А после смерти — страшный суд!

Я протолкался сквозь толпу и пошел дальше, и его странный, заунывный хриплый голос все преследовал меня. Я был занят одной и той же мыслью: где купить револьвер и как научиться владеть им? Вероятно, я забыл бы этого проповедника, если бы не увидел его потом в кошмарном сне, когда ненадолго заснул в ту ночь. Но большую ее часть я провел с открытыми глазами, думая о Нетти и ее возлюбленном.

Три следующих, довольно странных дня прошли под знаком одной неотступной мысли.

Эта мысль была — купить револьвер. Я внушил себе, что должен либо поднять себя в глазах Нетти каким-нибудь необыкновенным, героическим поступком, либо убить ее. Другого выхода я не видел. Я чувствовал, что иначе я потеряю последние остатки своей гордости и чести, что иначе до конца жизни буду недостоин уважения, недостоин любви. Гордость вела меня к этой цели между порывами возмущения.

Однако купить револьвер было не так-то легко.

Меня беспокоило, как я буду держаться с продавцом, и я старательно подготовил ответ на тот случай, если ему вздумается спросить меня, зачем я покупаю оружие. Я решил сказать, что еду в Техас и думаю, что там оружие может пригодиться. Техас тогда считался дикой и беззаконной местностью. Так как я ничего не знал насчет системы или калибра, то мне нужно было суметь расспросить спокойно, на каком расстоянии можно убить мужчину или женщину из предлагаемого мне оружия. Всю практическую сторону моего предприятия я продумал достаточно хладнокровно. Трудно было также найти продавца оружия. В Клейтоне, в лавке, где продавались велосипеды, можно было найти мелкокалиберное ружье, но револьверы там продавались только дамские, слишком игрушечные для моей цели. Подходящий револьвер, большой, тяжелый и неуклюжий, с надписью «На вооружении в американской армии» я нашел наконец в витрине ломбарда на узкой Хай-стрит в Суотингли.

Покупка, для которой я взял из сберегательной кассы свои два с лишним фунта, совершилась без всяких затруднений. Продавец сообщил мне, где я могу купить патроны, и я отправился домой со вздувшимися карманами, вооруженный до зубов.

Покупка револьвера была, как я уже говорил, главной задачей этих дней, но я все же не был настолько поглощен ею, чтобы не замечать того, что происходило на улицах, по которым я бродил, стремясь к осуществлению своей цели. Повсюду был ропот. Вся область Четырех городов хмуро и грозно выглядела из-за своих узких дверей. Обычный живой поток людей, идущих на работу или по своим делам, замер, застыл. Люди собирались на улицах кучками, группами, как спешат по сосудам кровяные тельца к месту, где начинается воспаление. Женщины выглядели изможденными и озабоченными. Металлисты не согласились на объявленное уменьшение заработной платы, и начался локаут. Они уже «играли». Примирительный комитет из всех сил старался предотвратить разрыв между углекопами и их хозяевами, но молодой лорд Редкар, самый крупный собственник угольных копей в округе и владелец всех земель в Суотингли и половины в Клейтоне, вел себя так высокомерно, что разрыв становился неизбежным. Это был красивый галантный молодой человек; его гордость возмущалась при мысли о том, что какое-то «сборище грязных углекопов» намерено диктовать ему условия, и он не собирался им уступать. Редкар был с самого раннего детства окружен роскошью; на его изысканное воспитание была истрачена заработная плата пяти тысяч человек; необузданное, романтическое честолюбие наполняло его так щедро вскормленный ум. В Оксфорде он тотчас стал выделяться своим презрительным отношением к демократии. В его ненависти к толпе было нечто, покоряющее воображение: с одной стороны, блистательный молодой аристократ в своем живописном одиночестве, с другой — невзрачная, серая масса, одетая в дешевое тряпье, невоспитанная, вечно голодная, завистливая, низкая, ленивая и жаждущая жизненных благ, которых никогда не имела. Ради цельности общего впечатления забывали про бравого полицейского, охраняющего особу лорда, и упускали из виду тот факт, что лорд Редкар на законнейшем основании мог морить голодом рабочих, в то время как они могли добраться до него, только серьезно нарушив закон.

Он жил в Лоучестер-хаусе, милях в пяти за Чексхиллом; но отчасти для того, чтобы показать, как мало он придает значения своим противникам, а отчасти, вероятно, чтобы следить за продолжавшимися переговорами, он почти ежедневно появлялся в Четырех городах на своем большом автомобиле, делавшем шестьдесят миль в час. Можно было подумать, что чисто английское стремление к «честной игре» делало его бравое поведение вполне безопасным; тем не менее ему случалось нарываться на неприятности — во всяком случае, пьяная ирландка однажды погрозила ему кулаком.

Мрачная, молчаливая толпа, которая росла с каждым днем, состояла наполовину из женщин; она таила в себе неясную угрозу, как туча, залегшая неподвижно на вершине горы, и не покидала площади перед Клейтонской ратушей, где шла конференция...

Я считал, что я вправе смотреть на автомобиль лорда Редкара с ненавистью, вспоминая дыры в нашей крыше.

Мы снимали наш маленький домик по контракту у старого скряги по фамилии Петтигрю; сам он жил близ Оверкасля, в вилле, украшенной гипсовыми изображениями собак и козлов. Несмотря на специальный пункт в нашем контракте, он не делал у нас решительно никакого ремонта, рассчитывая на робость моей матери. Как-то раз она не смогла уплатить в срок половины своей поквартальной платы за дом, и он отсрочил ее на целый месяц; опасаясь, что когда-нибудь ей снова понадобится такое же снисхождение, она превратилась с тех пор в смиреннейшую рабыню домохозяина. Боясь, как бы он не обиделся, она не решалась даже попросить его починить крышу. Но раз ночью дождь промочил ее кровать, она простудилась, а ее жалкое, старое стеганое одеяло вылиняло. Тогда она поручила мне написать старому Петтигрю смиренную просьбу — сделать в виде особой милости то, что он должен был делать по контракту. Одной из нелепостей прошлых дней было то, что даже существующие односторонние законы держались в тайне от народа, ими нельзя было пользоваться, их механизм нельзя было привести в движение. Вместо ясно написанного кодекса, прозрачные принципы и постановления которого теперь к услугам всех и каждого, в то время хитросплетения законов оставались профессиональной тайной юристов. Изнуренным работой беднякам постоянно приходилось выносить множество мелких несправедливостей из-за незнания законов и чрезвычайной

дороговизны ведения судебного процесса, требовавшего к тому же массу времени и энергии. Для того, кто был слишком беден, чтобы нанять хорошего адвоката, не существовало правосудия; оставалась лишь формальная охрана порядка полицией и неохотно даваемые, небрежные советы должностных лиц. Гражданские законы в особенности являлись таинственным орудием высших классов, и я не представляю себе той несправедливости, которая могла бы заставить мою бедную мать обратиться к ним.

Все это, наверно, кажется вам невероятным, но могу вас уверить, что так и было.

Старый Петтигрю приезжал к моей матери, обстоятельно рассказал ей о своем ревматизме, осмотрел крышу и объявил, что она не нуждается в ремонте. Когда я узнал об этом, то дал волю своему обычному в эти дни чувству — пламенному негодованию — и решил взять дело в свои руки. Я написал домохозяину письмо и потребовал исправления крыши в юридических выражениях, «согласно контракту». «Если это не будет выполнено в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, мы будем вынуждены обратиться в суд». Об этом героическом поступке я ни слова не сказал матери, и когда старый Петтигрю явился к ней в состоянии крайнего волнения, с моим письмом в руках, она возмутилась почти так же, как и он.

— Как мог ты написать старому мистеру Петтигрю такое письмо? — спросила она меня.

Я ответил, что старик Петтигрю — бессовестный мошенник или еще что-то в том же роде, и боюсь, что я вел себя очень непочтительно с матерью, когда она сказала мне, что все уладила — как именно, об этом она умолчала, но я мог и сам легко догадаться — и что я должен дать ей твердое и нерушимое слово больше в это не вмешиваться. Слова я не дал.

Делать мне тогда было нечего, и я немедленно в бешенстве отправился к Петтигрю, чтобы изложить ему все в должном свете. Но Петтигрю уклонился от объяснений. Он заметил меня, когда я всходил на крыльцо, — как сейчас, помню его кривой сморщенный нос, хмурые брови и седой вихор на голове, выглядывавший из-за оконной занавески, — и приказал служанке запереть дверь на цепочку и сказать, что хозяин меня не примет. Таким образом, мне пришлось снова взяться за перо.

Я не имел понятия о том, как вести дело судебным порядком, и тут мне пришла в голову блистательная мысль обратиться к лорду Редкару, собственнику земли, так сказать, феодальному главе, и сообщить ему, что в руках старого Петтигрю его рента обесценивается. К этому я прибавил несколько общих соображений об аренде, об обложении налогом земельной ренты и о частной собственности на землю. Лорд Редкар, который ненавидел простой люд и проявлял свое презрение к ним подчеркнуто унижительным обращением, вызвал мою особую ненависть тем, что поручил своему секретарю засвидетельствовать мне почтение и просить меня не соваться в его дела, а заниматься своими собственными. Письмо так разозлило меня, что я разорвал его в клочья и величественным жестом разбросал по всему полу, с которого я потом — чтобы не затруднять этим мать — долго собирал клочки, ползая на четвереньках.

Я еще обдумывал громовой ответ, обвинительный акт против всего класса Редкаров, обличающий их нравы, их мораль, их экономические и политические преступления, но меня отвлекли мысли о Нетти. Не настолько, однако, чтобы я не ругался вслух, когда во время моих долгих блужданий в поисках оружия мимо меня проносился автомобиль благородного лорда. А потом я узнал, что мать ушибла колено и захромала. Опасаясь рассердить меня лишним напоминанием о крыше, она стала без меня сама передвигать свою кровать подальше от дыры в потолке и ушиблась. Вся жалкая мебель была составлена теперь к облезлым стенам: штукатурка потолка потемнела от сырости, а посередине комнаты стояло корыто.

Я рассказал вам все это, чтобы вы поняли, как плохо и неудобно тогда жили, чтобы вы почувствовали дыхание недовольства жарких летних улиц, волнение об исходе стачки, тревожные слухи, собрания и митинги, все более сумрачные лица полицейских, воинственные заголовки статей в местных газетах, пикеты у молчаливых, бездымных фабрик, зорко осматривающие каждого прохожего... Все это было, но вы понимаете, что до меня эти впечатления доходили только отрывочно, составляли живой зрительный и звуковой фон для моей навязчивой идеи, для осуществления которой мне так необходим был револьвер.

Я шел по мрачным улицам среди угрюмой толпы, и мысль о Нетти, о моей Нетти и ее титулованном избраннике беспрерывно

разжигала во мне жажду мести.

Через три дня, в среду, произошел первый взрыв возмущения, который закончился кровопролитием в Пикок-Груве и затоплением всех угольных копей Суотингли. Мне пришлось присутствовать только при одном из этих столкновений, и это была лишь прелюдия к дальнейшей борьбе.

Отчеты прессы об этом происшествии очень разноречивы. Только прочтя их, можно составить себе понятие о необычайном пренебрежении к истине, которое бесчестило прессу той эпохи. В моем бюро есть пачка газет того времени — я их собирал, — и сейчас я просмотрел три или четыре номера того времени, чтобы освежить мои воспоминания. Вот они лежат передо мною — серые, странные, измятые; дешевая бумага порыжелела, стала ломкой и протерлась в изгибах, краска выцвела, стерлась, и мне приходится обращаться с ними предельно осторожно, когда я просматриваю их кричащие заголовки. Когда читаешь их в безмятежной обстановке сегодняшнего дня, то по всему; по тону, по аргументам и призывам — кажется, будто их писали пьяные, обезумевшие люди. Они производят впечатление какого-то глухого рева, криков и воплей, звучащих в маленьком, дешевом граммофоне.

Только в номере от понедельника, да и то оттесненное на задний план военными новостями, я нашел сообщение о необычайных событиях в Клейтоне и Суотингли.

То, что я видел, произошло вечером. Я учился стрелять из своего драгоценного приобретения. Для этого я ушел за четыре или пять миль по тропинке через заросшую вереском пустошь и затем вниз к уединенной рощице, полной полевых колокольчиков, на полпути между Литом и Стаффордом. Здесь я провел день, с мрачным упорством практикуясь в стрельбе. Для мишени я принес с собою старую тростниковую раму от бумажного змея, которую можно было складывать и раскладывать, и каждый удачный выстрел отмечал и нумеровал, чтобы сравнивать с другими.

Наконец я убедился, что в тридцати шагах девять раз из десяти попадаю в игральную карту; к тому же стало темнеть, и мне уже трудно было различать начерченный карандашом центр. Я направился

домой через Суотингли в том состоянии тихой задумчивости, которое бывает иногда у горячих людей, когда они голодны.

Дорога проходила между двумя рядами тесно стоявших жалких рабочих лачуг и дальше, там, у станции парового трамвая, где у фонаря стоял ящик для писем, принимала на себя роль главной улицы Суотингли. Вначале эта грязная, раскаленная солнцем улица была необычно тиха и пустынна, но за первым же углом, где приютилось несколько пивных, она стала многолюдной, но все-таки было тихо, даже дети как будто присмирели, а люди стояли кучками и смотрели на ворота угольных копей Бенток-Бордена.

Там дежурили пикеты, хотя переговоры между хозяевами и рабочими в ратуше еще продолжались и официально работа не прекратилась. Но один рабочий копей, Джек Бриско, социалист, написал в руководящий орган английских социалистов «Призыв» резкое письмо по поводу событий, где разбирает побуждения лорда Редкара. За опубликованием этого письма немедленно последовало увольнение его автора. Лорд Редкар так писал дня через два в «Таймсе» (у меня есть этот номер, так же как и другие лондонские газеты за последний месяц перед Переменной): «Этому человеку заплатили и вышвырнули его вон пинком ноги. Каждый уважающий себя предприниматель поступил бы точно так же».

Это случилось накануне вечером, и рабочие еще не решили, что им следует предпринять в этом спорном и сложном случае. Но они тотчас начали полуофициальную стачку на всех угольных коях Редкара, за каналом, пересекающим Суотингли. Они прекратили работу, не предупредив хозяев и тем нарушив договор. Но в постоянной борьбе за свои права рабочие в те далекие дни то и дело ставили себя в невыгодное положение и совершали противозаконные поступки; все это происходило потому, что их бесхитростные умы жаждали немедленных действий и не терпели проволочек.

Не все, однако, рабочие покинули шахту Бенток-Бордена. Там что-то пошло не так — возможно, не было согласованности или еще чего-нибудь, но шахта работала. Среди забастовавших рабочих распространился слух, что лорд Редкар заранее держал наготове людей из Дурхэма и что они уже в шахте. Теперь невозможно с уверенностью сказать, как было дело. Сообщения газет разноречивы, но достоверного ничего нет.

Вероятно, я прошел бы через темную сцену, на которой разыгрывалась эта вялая промышленная драма, не задав ни одного вопроса, если бы случайно на той же сцене не появился одновременно со мною лорд Редкар и не привел тотчас же эту драму в движение.

Он объявил, что если рабочие хотят драться, то он обещает им такую драку, какой они еще не видывали, и весь тот день усиленно занимался военными приготовлениями, открыто собирая толпу «иуд», как мы называли штрейкбрехеров, которые, по его словам, — и мы этому верили — должны были заменить в копиях прежних рабочих.

Я был очевидцем всего происшедшего около копей Бенток-Бордена и все-таки не знаю, что собственно там произошло.

Судите сами: я расскажу все, что видел.

Я спускался по крутой булыжной мостовой, глубокой, как ущелье, — тротуары по обе стороны поднимались футов на шесть над ее уровнем, и там тянулись однообразными рядами отворенные двери мрачных и низких домишек. Нагромождение приземистых, крытых шифером синеватых крыш и густо торчащих печных труб спускалось к открытому пространству перед копиями, пространству, покрытому обломками угля и размешанной колесами грязью; налево тянулся заросший бурьяном пустырь, а направо были ворота копей.

За всем этим продолжалась главная улица с лавками, и прямо из-под моих ног появились рельсы парового трамвая, то блестящие отраженным светом, то терявшиеся в тени, чтобы снова вынырнуть под грязно-желтым отсветом только что зажженного фонаря и затем пропасть за углом. Дальше лежала темная масса домишек — маленькие, прокопченные лачуги, — среди которых поднимались жалкие церквушки, питейные дома, школы и прочие здания, и над всем этим возвышались трубы Суотингли. Направо, над входом в шахту Бенток-Бордена, ясно рисовалось в тусклом полусвете большое черное колесо, и дальше, то тут, то там, такие же колеса над другими шахтами. Общее впечатление при спуске с холма — теснота и темнота под высоким, необозримым простором светлого вечернего неба, к которому поднимались черные колеса шахт. И над безмятежной глубиной этого неба царила комета — громадная зеленовато-белая звезда, на которую дивились все, у кого были глаза, чтобы видеть.

На западе на побледневшем вечернем небе ясно вырисовывалась линия горизонта; комета же взошла с востока из-за полосы дыма от заводов Блэддина. Месяц еще не восходил.

К атому времени комета уже начала принимать форму облака, знакомую всем по тысячам фотографий и рисунков. Сперва она была лишь крошечным пятнышком, видимым только в телескоп, потом сравнялась по величине и блеску с крупнейшей звездой; продолжая расти с часу на час, она в своем невероятно быстром, бесшумном и неотвратимом беге к нашей Земле достигла размеров Луны и переросла ее. Теперь это было самое великолепное зрелище на небе. Я никогда не видел фотографии, которая давала бы верное представление о комете, но вопреки общепринятому мнению о кометах у этой не было никакого хвоста. Астрономы заговорили было о двух хвостах, из которых один находился впереди ядра кометы, а другой сзади, но хвосты исчезли, так что комета имела скорее форму клуба светящегося дыма с более ярким ядром. При восходе она была ярко-желтой и принимала характерный зеленоватый цвет, лишь поднявшись над вечерним туманом.

Комета невольно притягивала мое внимание, несмотря на то, что я всецело был занят земными вещами. Я смотрел на нее со смутным предчувствием; мне казалось, что такое удивительное и прекрасное явление должно сыграть какую-нибудь роль, что оно не может быть совершенно безразлично для хода, для смысла моей жизни.

Но каким образом?

Я вспомнил о Парлоде, о панике и тревоге, распространяемой по поводу кометы, и об уверениях ученых, что комета весит так мало — самое большее несколько сот тонн рассеянного газа и тонкой пыли, — и что если бы даже она вся целиком, а не краем ударились о Землю, то и тогда ничего бы не произошло. «В конце концов, — сказал я себе, — какое же значение для Земли может иметь звезда?»

Еще ниже по склону холма вырастали дома и здания, появились настороженные группы людей, чувствовалась какая-то напряженность, и я забыл про небо.

Поглощенный собою и мрачной мыслью о Нетти и о моей чести, я пробирался между этими затаенно грозными группами и был захвачен врасплох, когда внезапно на сцене начала разыгрываться драма...

Какая-то магнетическая сила притягивала всех к главной улице; она и меня увлекла, как бурный поток соломинку. Вся толпа одновременно загудела. Это не было какое-либо слово, а только протяжный звук, в котором слышались вместе и протест и угроза, нечто среднее между гулким «А!» и «Ух!». Затем послышался хриплый гневный крик: «Бу-бу-у!» В нем была почти звериная ярость. «Туут, туут», — послышался насмешливый ответ автомобиля лорда Редкара. «Туут, туут!» Слышно было, как он шипел и кряхтел, когда толпа вынудила его замедлить ход. Все двинулись к шахте, я тоже.

И тут я услышал крик. В просвете между темными фигурами вокруг меня я увидел, как автомобиль остановился, потом снова двинулся; перед моими глазами мелькнуло что-то корчившееся на земле.

Впоследствии утверждали, что лорд Редкар сам правил автомобилем и умышленно наехал на мальчика, не желавшего сойти с дороги. Утверждали также, что мальчик был взрослым мужчиной, который пытался пройти перед автомобилем, когда тот медленно продвигался сквозь толпу, что этот человек был на волоске от гибели, спасся, однако, а потом поскользнулся на рельсах трамвая и упал. Обе версии напечатаны под кричащими заголовками в двух газетах, лежащих сейчас на моем столе. Установить правду так и не удалось. Да и может ли быть какая-нибудь правда в таком слепом столкновении страстей?

Толпа напирала, загудел рожок автомобиля, все шархнулись шагов на десять вправо; послышался звук, похожий на револьверный выстрел.

Одно мгновение мне показалось, что все побежали. Какая-то женщина с завернутым в большой платок ребенком на руках налетела на меня с такой силой, что я отшатнулся назад. Все думали, что это был выстрел; на самом же деле с мотором произошло то, что в этих старомодных машинах называлось «преждевременной вспышкой». Тонкая струйка голубого дыма вилась над задней частью автомобиля. Беспорядочное бегство большей части толпы очистило пространство вокруг поля битвы, центром которой был автомобиль.

Упавший мужчина или мальчик лежал на земле, как черный комок, с вытянутой рукой и подергивавшимися ногами. Около него никого не было. Автомобиль остановился, и его три седока встали.

Шесть или семь фигур в черном окружали автомобиль и, казалось, удерживали его, не давая ему двинуться дальше. Один — это был Митчел, известный лидер рабочих — негромко, но яростно спорил с лордом Редкаром. Я стоял недостаточно близко, чтобы расслышать слова. Ворота копей сзади меня были открыты, и с той стороны к автомобилю могла подоспеть помощь. От него до ворот было шагов пятьдесят по черной грязи, потом вход в шахту и над ним вздымавшееся к небу черное колесо. Я стоял в толпе, нерешительным полукругом обступившей спорящих.

Инстинктивно мои пальцы стиснули револьвер в кармане.

Я пробрался вперед с самыми неопределенными намерениями и не слишком быстро, чтобы не дать опередить себя другим, спешившим присоединиться к небольшой кучке людей около автомобиля.

Лорд Редкар в своем широком меховом пальто возвышался над окружавшей его группой; он угрожающе размахивал руками и что-то громко говорил. Он держался смело, в этом надо признаться; он был высок и хорош собой, обладал звучным голосом и хорошими манерами. В первую минуту он целиком приковал к себе мое внимание. Он казался мне торжествующим символом всех притязаний аристократии, всего того, что вызывало во мне ненависть. Шофер сидел сгорбившись и пристально смотрел на толпу из-под локтя хозяина. Но Митчел тоже был крупный человек, и его голос тоже звучал твердо и громко.

— Вы задавили этого человека, — повторял он, — и не уедете отсюда, пока не посмотрите, что с ним.

— Уеду или не уеду — это мое дело, — ответил Редкар. — Сойдите и взгляните на него, — обратился он к своему шоферу.

— Не советую, — сказал Митчел, и шофер нерешительно остановился на подножке.

Тогда с заднего сиденья поднялся еще человек и, наклонившись, что-то сказал лорду Редкару. Только тут я обратил на него внимание. Это был молодой Веррол! Его красивое лицо было ясно видно в бледно-зеленом свете кометы.

Я сразу перестал слышать спор Митчела с лордом Редкаром, хотя голоса их становились все громче. Новый факт отодвинул их на задний план. Молодой Веррол!

Моя цель сама шла мне навстречу.

Сейчас будет стычка, наверное, дело дойдет до драки, и тогда мы...

Что же мне делать? Я быстро это обдумал, и если только память не обманывает меня, я принял решение немедленно. Моя рука сжимала револьвер, но тут я вспомнил, что он не заряжен. Надо отойти в сторону и зарядить его. Я стал проталкиваться сквозь озлобленную толпу, снова окружившую автомобиль...

«По ту сторону дороги среди мусорных куч меня никто не увидит, и я заряджу револьвер», — подумал я.

Высокий юноша, проталкивавшийся вперед со сжатыми кулаками, остановился около меня на секунду.

— Что это! — оказал он. — Испугались вы их, что ли?

Я быстро оглянулся через плечо, потом посмотрел на него и уже готов был показать ему свой револьвер, когда выражение его глаз вдруг изменилось. Он посмотрел на меня с замешательством и, проворчав что-то, вновь двинулся вперед.

Голоса сзади меня становились громче и резче.

Я заколебался, повернул было обратно, затем все-таки бросился бегом к кучам мусора. Какой-то инстинкт говорил мне, что никто не должен видеть, как я заряжаю револьвер. Значит, у меня было достаточно хладнокровия, чтобы подумать о последствиях того, что я намеревался сделать.

Еще раз взглянул я назад, туда, где шел спор, — или это была уже драка? — потом спрыгнул в яму, стал на колени среди бурьяна и стал поспешно заряжать дрожащими руками. Вложив один патрон, я встал и пошел, но не успел я сделать шагов двенадцать, как подумал о возможных осложнениях, вернулся назад и вложил в барабан остальные патроны. Я действовал медленно, как-то неловко и, кончив, начал припоминать, не забыл ли я чего. И потом, прежде чем подняться, я посидел в яме еще несколько секунд, сопротивляясь первому протесту разума против моего страстного порыва. Я думал, и на минуту зелено-белая комета вновь проникла в мое сознание; в первый раз я уловил какую-то связь между кометой и яростным волнением, охватившим людей, и с тем, что я сам намеревался сделать. Я собирался убить Веррола как бы с благословения этого зеленого сияния...

А как же Нетти?

Но думать об этом сейчас было просто невозможно.

Я снова вышел из-за мусорной кучи и медленно направился к толпе.

Конечно, я должен убить его...

Поверьте, что мне никогда не приходила в голову мысль о возможности убить молодого Веррола при подобных обстоятельствах. Я никогда не связывал его мысленно с лордом Редкаром и нашим черным промышленным миром. Он принадлежал к совершенно иному, далекому миру — миру Чексхилла, парков, садов, ясного солнца, страстных чувств, Нетти. Его появление здесь захватило меня врасплох и перевернуло все мои расчеты. Я был слишком измучен и голоден, чтобы думать логично, наше соперничество вмешалось в дело и увлекло меня. Я много думал раньше о столкновениях, обличениях, о решительных действиях; воспоминания об этих мыслях овладели мною с такой силой, точно это были бесповоротные решения.

Послышалось чье-то резкое восклицание, крик женщины; толпа, волнуясь, подалась назад. Началась драка.

Лорд Редкар, кажется, выскочил из автомобиля и свалил с ног Митчела; из ворот шахты уже бежали люди на помощь лорду.

Не без труда пробрался я сквозь толпу; помню, что двое высоких мужчин так меня сжали, что мои руки были точно пришиты к бокам, и совершенно не помню никаких других подробностей до того момента, когда меня почти силой вытолкнули в самую середину свалки.

Я наткнулся на угол автомобиля и очутился лицом к лицу с Верролом, который выходил с заднего сиденья. Его лицо в желтом свете автомобильного фонаря и зеленой кометы казалось странно обезображенным. Это длилось всего одно мгновение, но почему-то смутило меня. Он сделал шаг вперед, и странные отсветы исчезли.

Не думаю, чтобы он узнал меня, но он сейчас же догадался, что я хочу напасть на него, и размахнулся, задев меня по щеке.

Я инстинктивно разжал пальцы, сжимавшие в кармане револьвер, выхватил правую руку и запоздало заслонился ею, а левой изо всех сил ударил его в грудь.

Он пошатнулся, и когда снова подался вперед, то я увидел по его лицу, что он узнал меня и очень удивлен.

— Ага, узнал меня, скотина! — крикнул я и снова ударил его.

В ту же минуту я был отброшен в сторону, оглушенный громадным кулаком, ударившим меня в челюсть. У меня осталось впечатление меховой громады, возвышавшейся над полем битвы, как некий герой Гомера, — это был лорд Редкар. Я упал. Но мне показалось, что он взвился куда-то к небесам; больше он не обращал на меня внимания. Громким голосом он кричал Верролу:

— Брось, Тедди! Ничего не выйдет. У пикетчиков стальные палки...

Меня задевали чьи-то ноги, какой-то углекоп в подбитых гвоздями сапогах споткнулся о мою ногу. Слышались крики, проклятия, затем все пронеслось дальше. Я перевернулся со спины на живот и увидел, как шофер, Веррол и за ним лорд Редкар, смешно подобрав полы своей шубы, гуськом бежали со всех ног в свете кометы к открытым воротам копей.

Я приподнялся на локтях.

Молодой Веррол!

Я даже не вынул револьвера, я совсем забыл о нем! Я весь перепачкался, колени, локти, плечи спина — все было покрыто угольной грязью. Я даже не успел вынуть свой револьвер!

Мною овладело нелепое чувство полного бессилия. Я с трудом поднялся на ноги.

Потом я повернулся было к воротам копей, но передумал и, прихрамывая, поплелся домой, смущенный и пристыженный. У меня не было ни желания, ни сил участвовать в развлечении — ломать и жечь автомобиль лорда Редкара.

Ночью от лихорадки, боли и усталости, а быть может, от плохо переваренного ужина из хлеба и сыра, я проснулся с отчаянием в душе от одиночества и стыда. Меня оскорбили, у меня не осталось ни чести, ни надежд... Я лежал в постели и в неистовой ярости проклинал бога, в которого не верил.

Так как моя лихорадка была следствием не только боли и усталости, но и брожения молодой страсти, то совершенно

естественно, что в коротком сне, предшествовавшем пробуждению, в довершение всех моих мучений мне приснилась странно изменившаяся Нетти. С ясностью галлюцинации почувствовал я всю силу ее физической прелести, ее грации и красоты. В ней одной заключались все мои страстные стремления, вся моя гордость. Она была воплощением моей потерянной чести. Потеря Нетти казалась мне не только утратой, но и позором. Нетти — это жизнь, это все, в чем мне было отказано; она насмеялась надо мною, бессильным, побежденным. Я стремился к ней всей душой, и удар кулака снова ныл и горел на моей щеке, и я снова падал в грязь, к ногам своего соперника.

По временам меня охватывало что-то очень близкое к безумию, и я скрежетал зубами и сжимал кулаки с такой силой, что ногти впивались в мои ладони, и переставал кричать и изрыгать проклятия только потому, что мне не доставало слов. А один раз, перед самым рассветом, я встал с постели и с заряженным револьвером в руке сел перед зеркалом; но потом поднялся, уложил револьвер в комод и запер его подальше от соблазна мимолетных настроений. После этого я ненадолго заснул!

Такие ночи вовсе не были чем-нибудь редким или необыкновенным при старом строе. В каждом городе не проходило и ночи, чтобы тысячи людей не мучились бессонницей от горя и страданий. Тысячи людей были тогда так же измучены и доведены до края безумия, как и я, — каждый из них был центром омраченного, погибающего мира...

Следующий день я провел, точно в мрачной апатии.

Я собирался пойти в Чексхилл, но не смог: ушибленная нога слишком распухла. Поэтому я остался дома, сидел с забинтованной ногой в нашей плохо освещенной подвальной кухне, предавался мрачному раздумью и читал. Моя добрая старая мать ухаживала за мной, и ее карие глаза озабоченно и пытливо наблюдали мою угрюмую сосредоточенность, мое мрачное молчание. Я не сказал ей, как ушиб ногу, почему так грязно мое платье. Платье она вычистила утром, прежде чем я встал.

О да! Теперь с матерями так не обращаются. Это, вероятно, должно меня утешить. Не знаю, сможете ли вы представить себе ту темную, грязную, неуютную комнату, с голым столом из сосновых

досок, с ободранными обоями, с кастрюлями и котелком на узком, дешевом, пожирающем топливо очаге, с золою под топкой и с ржавой решеткой, на которую я положил свою забинтованную ногу. Не знаю также, сможете ли вы представить себе сидящего в деревянном кресле нахмуренного, бледного юношу, небритого, без воротничка, и маленькую робкую, перепачканную от стряпни и уборки добрую старушку, преданно ухаживающую за ним, и ее глаза с любовью устремленные на него из-под сморщенных век.

Она пошла покупать какие-то овощи и принесла мне газету за полпенни, вроде тех, что лежат сейчас на моем столе; только та, которую я тогда читал, была прямо из-под пресса, еще сырая; эти же так сухи и хрупки, что ломаются, когда я до них дотрагиваюсь. У меня сохранился экземпляр номера газеты, которую я читал в то утро. Газета выразительно называлась «Новый листок», но все, кто ее покупал, звали ее просто «Сплетник». В то утро газета была полна самых поразительных новостей, под еще более поразительными заголовками, до такой степени поразительными, что даже я отвлекся на минуту от собственных эгоистических огорчений. Англия была, по-видимому, накануне войны с Германией.

Из всех чудовищно-безумных явлений прошлого война была, без сомнения, самым безумным. Пожалуй, в действительности она причиняла меньше вреда, чем такое менее заметное зло, как всеобщее признание частной собственности на землю, но губительные последствия войны были так очевидны, что ею возмущались даже в то глухое и смутное время. Войны того времени были совершенно бессмысленны. Кроме массы убитых и калек, кроме истребления громадных материальных богатств и растраты бесчисленных единиц энергии, войны не приносили никаких результатов. Древние войны диких, варварских племен по крайней мере изменяли человечество; какое-нибудь племя считало себя более сильным физически и более организованным, доказывало это на своих соседях и в случае успеха отнимало у них земли и женщин и таким образом закрепляло и распространяло свою власть. Новая же война не изменяла ничего, кроме красок на географических картах, рисунков почтовых марок и отношений между немногими, случайно выдвинувшимися личностями. В одном из последних припадков этой международной эпилепсии англичане, например, в условиях сильнейшей дизентерии

при помощи массы скверных стихов и нескольких сотен убитых в сражениях покорили южноафриканских буров, из которых каждый обошелся им около трех тысяч фунтов стерлингов — за сумму вдесятеро меньшую они могли бы купить эту нелепую пародию на народ, всю целиком, и если не считать нескольких частных перемен — вместо одной группы почти совсем разложившихся чиновников другая, и так далее, — существенных изменений не было. (Что, впрочем, не помешало некоему легко возбудимому молодому австрийцу покончить с собой, когда Трансвааль в конце концов перестал быть «страной».) Побывавшие на месте военных действий после того, как война окончилась, не нашли там других изменений, кроме всеобщего обнищания и громадных гор пустых консервных банок, колючей проволоки и расстрелянных патронов; все осталось по-прежнему, и люди, хотя и несколько озадаченные, возвратились и к прежним привычкам и к прежнему непониманию друг друга; чернокожие по-прежнему жили в своих грязных лачугах, белые — в своих уродливых, скверно содержащихся домах...

Но мы в Англии видели или не видели все это глазами «Нового листка», наводившего на все некий невразумительный туман. Все мое отрочество от четырнадцати до семнадцати лет прошло под звуки этой бесплодной, пустой музыки: аплодисменты, волнения, пение и махание флагами, несчастья благородного Буллера и героизм Девета, который решительно всегда выходил сухим из воды, — в этом-то и заключается самое большое его геройство, — и мы ни разу не подумали, что все население страны, с которой мы воюем, не насчитывает и половины числа жителей, влачащих жалкое существование в пределах Четырех городов.

Но и до и после этого глупейшего столкновения глупостей назревал новый, более серьезный конфликт; он медленно, но настойчиво заявлял о себе, как о чем-то неотвратимом, порой на время затихая, но только для того, чтобы вспыхнуть с еще большей силой, а порой, сверкнув острой недвусмысленной идеей, просачивался в самые неожиданные области: это был конфликт между Германией и Великобританией.

Когда я думаю о постоянно возрастающем количестве читателей, целиком принадлежащих новому миру, у которых о старом мире сохранились лишь смутные воспоминания раннего детства, то

испытываю большое затруднение, как описать им бессмысленную обстановку, в которой жили их отцы.

На одной стороне были мы, британцы, сорок один миллион человек, завязшие в бесплодной экономической и нравственной тине, не имеющие ни мужества, ни энергии, ни ума, чтобы улучшить наше положение, не осмеливавшиеся в большинстве даже думать об этом. При этом наши дела были безнадежно переплетены с не менее сумбурными, хоть и в ином роде, чем наши, делами трехсот пятидесяти миллионов других людей, разбросанных по всему земному шару, среди которых были и германцы — пятьдесят шесть миллионов людей, находившихся ничуть не в лучшем положении, и в обеих странах суетились маленькие, крикливые создания, издававшие газеты, писавшие книги, читавшие лекции и вообще воображавшие, что они-то и есть разум нации. С каким-то необычным единодушием они побуждали — и не только побуждали, но с успехом убеждали — обе нации употребить тот небольшой запас материальной, моральной и интеллектуальной энергии, которым они обладали, на истребительное и разрушительное дело войны. И ни один человек не мог бы указать хоть какую-нибудь действительную, прочную выгоду, которая искупала бы истребление людей и вещей и все зло войны, одинаково неизбежное, какая бы сторона ни победила, чем бы война ни кончилась. Все это я должен сказать, хотя, может быть, вы мне и не поверите, ибо без этого невозможно понять мою историю.

Это было какое-то совершенно необъяснимое всеобщее наваждение, и в микрокосме нашей нации оно представляло любопытную параллель с эгоистической злобой и ревностью моего индивидуального микрокосма. Это наваждение указывало на то, что страсти, унаследованные нами от наших звероподобных предков, полностью преобладали над нашим разумом. Точно так же, как я, поработанный внезапным несчастьем и злобой, бегал с заряженным револьвером, вынашивая в уме различные, неясные мне самому преступления, так и эти две нации рыскали по земному шару, сбитые с толку и возбужденные, с вооруженными до зубов флотами и армиями в полной боевой готовности. Только здесь не было даже Нетти для оправдания их безумия; не было ничего, кроме воображаемого соперничества.

И пресса была главной силой, натравливавшей эти два многочисленных народа друг на друга.

Пресса, эти газеты, такие непонятные нам теперь — все эти «Империи», «Нации», «Тресты» и другие чудовища того невероятного времени, — развились так же случайно и непредвиденно, как сорные травы в запущенном саду. Все тогда развивалось случайно, потому что не было в мире ясной, определенной воли, что могла бы направить его к чему-нибудь лучшему. Под конец эта «пресса» почти целиком попала в руки молодых людей особого типа, очень усердных и довольно неумных, которые не способны были даже понять, что у них, в сущности, нет никакой цели и что они с величайшим рвением и самоуверенностью стремятся к пустому месту. Чтобы понять то сумасшедшее время, коему положила конец комета, нужно помнить, что изготовление этих странных газет производилось с громадной затратой бесцельной энергии и с чрезвычайной поспешностью.

Позвольте описать вам очень кратко газетный день.

Вообразите себе наскоро спроектированное и наскоро выстроенное здание в одном из грязных, усыпанных клочьями бумаги переулков старого Лондона; через двери этого здания вбегают и выбегают с быстротой пушечного ядра люди в скверной, поношенной одежде, а внутри кучки наборщиков напряженно работают, — их всегда торопили, этих наборщиков, — у наборных касс, хватают проворными пальцами и перебрасывают с места на место тонны металла, точно в какой-то адской кухне. А этажом выше, в маленьких, ярко освещенных комнатах, точно в каком-то улье, сидят люди с включенными волосами и лихорадочно строчат. Звонят телефоны, постукивают иглы телеграфа, вбегают посыльные, носятся взад и вперед разгоряченные люди с корректурами и рукописями. Затем, заражаясь спешкой, начинают стучать машины, все быстрее и быстрее, с шумом и лязгом; печатники снуют около них с масляными лейками в руках, точно ни разу с самого дня рождения не успевшие вымыться, а бумага, содрогаясь, спешит соскочить с вала. Как бомба, влетает владелец газеты, спрыгнув с автомобиля, прежде чем тот успел остановиться, с полными руками писем и документов, с твердым намерением всех «подстегнуть», и точно нарочно всем только мешает. При его появлении даже мальчики-посыльные, ожидающие поручений, вскакивают и начинают бегать без всякого

толку. Прибавьте ко всему этому непрерывные столкновения, перебранку, недоразумения. С приближением рассвета все части этой сложной сумасшедшей машины работают все быстрее, почти доходя до истерики в спешке и возбуждении. Во всем этом бешено мятущемся здании медленно движутся одни только часовые стрелки.

Понемногу приближается время выхода газеты — венец всех этих усилий. Перед рассветом по темным и пустынным улицам бешено мчатся повозки и люди; все двери дома изрыгают бумагу — в кипах, в тюках, целый поток бумаги, которую хватают, бросают с такой яростью, что это похоже на драку, и затем с треском и грохотом все разлетается к северу, югу, востоку и западу. Внутри дома все стихает; люди из маленьких комнат идут домой; расходятся, зевая, наборщики; умолкает громыханье машин. Газета родилась. За производством следует распределение, и мы тоже последуем за связками и пачками.

Происходит как бы рассеяние. Кипы летят на станции, в последнюю минуту влетают в поезда, потом распадаются на мелкие пачки, которые аккуратно выбрасывают на каждой остановке поезда; затем их делят вновь на пачки поменьше, а те — на пачки еще меньше и, наконец, на отдельные экземпляры газеты. Утренняя заря застаёт отчаянную беготню и крики мальчишек, которые суют газеты в ящики для писем, в открывающиеся окна, раскладывают их на прилавки газетных киосков. В течение нескольких часов вся страна покрывается белыми пятнами шуршащей бумаги, а заголовки всюду выкрикивают большими буквами последнюю ложь, приготовленную для наступающего дня. И вот по всей стране в поездах, в постелях, за едой мужчины и женщины читают; матери, дочери, сыновья нетерпеливо ждут, когда дочитает отец, миллион людей жадно читает или жадно ждет своей очереди прочесть.словно какой-то колоссальный рог изобилия покрыл всю страну белой бумажной пеной...

И потом все исчезает удивительно, бесследно, как пена волн на песчаном берегу.

Бессмыслица! Буйный приступ бессмыслицы, беспричинное волнение, пустая трата сил без всякого результата...

Один из этих листков попал мне в руки, когда я с забинтованной ногой сидел в нашей темной подвальной кухне, и разбудил меня от моих личных тревог своими кричащими заголовками. Мать сидела

рядом и, засучив рукава на своих жилистых руках, чистила картофель, пока я читал.

Этот листок походил на одну из бесчисленных болезнетворных бактерий, проникших в организм. Я был одним из кровавых телец в большом бесформенном теле Англии, одним из сорока одного миллиона таких же телец, и, несмотря на всю мою озабоченность, возбуждающая сила этих заглавных строчек подхватила меня и увлекла. И по всей стране миллионы читали в тот день так же, как и я, и вместе со мною поднялись и стали в ряды под магическим действием призыва — как тогда выражались? — Ах да: «Дать отпор врагу».

Комета была загнана на задворки последних страниц. Столбец, озаглавленный: «Знаменитый ученый утверждает, что комета столкнется с землей. Каковы будут последствия?..» — остался неп прочитанным. Германия — я обыкновенно представлял себе это мифическое злое существо в виде затянутого в панцирь императора с торчащими усами и с большим мечом в руке, осененного черными геральдическими крыльями, — нанесла оскорбление нашему флагу. Так сообщал «Новый листок», и чудовище встало передо мною, грозя новыми оскорблениями; я ясно видел, как оно плюет на безупречное знамя моей страны. Кто-то водрузил британский флаг на правом берегу какой-то тропической реки, названия которой я до тех пор ни разу не слышал, а пьяный немецкий офицер, получивший двусмысленный приказ, сорвал этот флаг. Затем один из туземцев той страны — несомненно, британский подданный — был весьма кстати ранен в ногу. И все же факты были не очень убедительны. Ясно было одно: таких вещей мы Германии не простим. Что бы там ни произошло, хотя бы и ровно ничего, но мы желаем получить удовлетворение, а Германия извиняться, по-видимому, не намерена.

«НЕ ПОРА ЛИ НАЧАТЬ?»

Таков был заголовок. И сердце начинало биться сильнее...

В этот день я временами совершенно забывал Нетти, мечтая о битвах и победах на суше и на море, о бомбардировках и траншеях и о великой бойне, где погибнут многие тысячи людей.

Но на следующее утро я отправился в Чексхилл, на что-то смутно надеясь, позабыв про стачку, комету и войну.

Конечно, я отправился в Чексхилл без определенного плана убить кого-нибудь. У меня вообще не было никакого плана. В моей голове носился целый клубок драматических сцен — угрозы, изобличение, устрашение, — но убивать я не собирался. Револьвер нужен был мне для того, чтобы дать мне превосходство над противником, который был старше и сильнее... Нет, даже не потому! Револьвер... Я взял его просто потому, что он у меня был, а я еще не умел рассуждать здраво. Носить револьвер казалось мне драматичным. Но, повторяю, никаких планов у меня не было.

Во время этого второго путешествия в Чексхилл у меня то и дело появлялись новые несбыточные мечты. В то утро я проснулся с надеждой — вероятно, это был самый конец позабытого сна, — что Нетти может еще смягчиться, что, несмотря на все происшедшее, в глубине ее сердца сохранилось доброе чувство ко мне. Возможно даже, что я неверно истолковал то, что видел. Быть может, Нетти все объяснит мне. И все же револьвер лежал у меня в кармане.

Сначала я хромал, но, пройдя мили две, забыл о своей больной ноге и зашагал как следует. А что, если я все-таки ошибся?

Уже идя по парку, я все еще думал об этом. На углу поляны около дома привратника несколько запоздалых голубых гиацинтов напомнили мне то время, когда я рвал их вместе с Нетти. Не может быть, чтобы мы действительно расстались навеки. Волна нежности нахлынула на меня, пока по лощинке я шел к роще остролиста. Но здесь нежная Нетти моей отроческой любви побледнела, на ее место стала новая Нетти моих страстных желаний, и мне вспомнился человек, которого я встретил при лунном свете; я подумал о том жгучем, неотступном стремлении, которое выросло с такой силой из моей свежей, весенней любви, и мое настроение вновь потемнело, как ночь.

Твердым шагом, с тяжестью на сердце, шел я буковым лесом, но у зеленых ворот сада меня охватила такая дрожь, что я никак не мог ухватиться за задвижку, чтобы поднять ее. Теперь я уже знал, что произойдет. Дрожь сменилась ознобом, бледностью и чувством

жалости к самому себе. С изумлением я заметил, что мое лицо подергивается, щеки мокры, и вдруг я отчаянно разрыдался. Надо немного переждать, успокоиться. Я, спотыкаясь, повернул в сторону от ворот, рыдая, сделал несколько шагов и бросился на землю в чаще папоротника. Так лежал я, пока не успокоился. Я уже хотел отказаться от своего намерения, но потом все прошло, как тень от облака, и я спокойно и решительно вошел в сад.

Через отворенные двери одной из теплиц я увидел старого Стюарта. Он стоял, прислонившись к раме, засунув руки в карманы, и так задумался, что не заметил меня...

Я остановился в нерешительности, потом медленно пошел дальше, к дому.

Все здесь выглядело как-то необычно, но сперва я не отдавал себе отчета, что именно. Одно из окон спальни было открыто, и штора, обыкновенно поднятая, криво болталась вместе с полуоторвавшейся медной палкой. Эта небрежность показалась мне странной, обычно все в коттедже было на редкость аккуратно.

Дверь была широко отворена, вокруг все тихо. Но столовая, обычно тщательно прибранная, тоже удивила меня: это было в половине третьего пополудни, и три грязных тарелки вместе с испачканными ножами и вилками валялись на одном из стульев.

Я вошел в столовую, заглянул в соседние комнаты и остановился в нерешительности. Потом постучал дверным молотком и крикнул: «Есть кто-нибудь дома?»

Никто не ответил мне, и я стоял, прислушиваясь в ожидании, сжимая в кармане револьвер. Напряженное ожидание еще более взвинтило мои нервы.

Я уже вторично взялся за молоток, когда в дверях показалась Пус.

С минуту мы молча смотрели друг на друга. Ее волосы были растрепаны, перепачканы, заплаканное лицо покрыто красными пятнами. Она глядела на меня с изумлением. Я ждал, что она скажет мне что-нибудь, но она выскочила из дверей и побежала.

— Послушай, Пус! — крикнул я. — Пус!

Я побежал за ней.

— Пус, что случилось? Где Нетти?

Она скрылась за углом дома.

Я в изумлении остановился, не зная, пытаться ли мне догнать ее. Что все это значит? Вверху послышались чьи-то шаги.

— Вилли, — окликнула меня миссис Стюарт. — Это ты?

— Да, — ответил я, — куда же все запропали? Где Нетти? Мне нужно поговорить с ней.

Она не отвечала, но я слышал шуршание ее платья. Наверно, она стоит на верхней площадке лестницы.

Я остановился внизу, ожидая, что она ко мне сойдет.

Вдруг послышались странные звуки, сквозь них прорывались бессвязные, скомканные, неясные слова, как бы выходящие из сжатого конвульсией горла, и, наконец, всхлипывания без всяких слов. Плакала, несомненно, женщина, но звуки походили на жалобный плач ребенка. «Я не могу... я не могу...» И больше ничего нельзя было разобрать. Плач доброй женщины, всегда кормившей меня таким вкусным пирожным, показался мне невероятным событием. Эти звуки испугали меня. В безумной тревоге поднялся я по лестнице; здесь на площадке стояла миссис Стюарт, склонившись над комодом подле открытой двери ее спальни, и горько плакала. Никогда не видал я ее в таком горе. Большая прядь темных волос выбилась из прически и упала на спину; никогда раньше я не замечал, что у нее есть седые волосы.

Когда я поднялся на площадку, она опять заговорила.

— Вот уж не ожидала, что мне придется сказать тебе такое, Вилли. Вот уж не ожидала! — Она опять опустила голову и начала рыдать.

Я молчал, я был слишком изумлен, но я подошел к ней поближе и ждал...

Никогда не видел я таких слез. Я и теперь еще вижу перед собой ее совершенно мокрый платок.

— Подумать только, что я дожидая до такого дня! — простонала она. — В тысячу раз легче было бы мне видеть ее мертвой.

Я начал догадываться.

— Миссис Стюарт, — проговорил я хрипло, — скажите, что случилось с Нетти?

— И зачем только дожидая до этого дня! — всхлипнула она вместо ответа.

Я ждал, чтобы она успокоилась.

Наконец плач понемногу стал стихать. О револьвере я совсем забыл. Я все еще молчал, и она внезапно выпрямилась во весь рост, вытерла распухшие глаза и сразу проговорила:

— Она ушла, Вилли.

— Нетти?

— Ушла... Убежала... Убежала из родного дома. О Вилли, Вилли! Какой позор! Какой грех и позор!

Она тяжело оперлась на мое плечо, прижалась ко мне и снова заговорила о том, что ей легче было бы видеть дочь мертвой.

— Ну-ну, успокойтесь, — весь дрожа, проговорил я. — Куда она ушла? — спросил я потом как можно мягче.

Но миссис Стюарт была слишком поглощена своим горем, и мне пришлось обнимать и утешать ее, хотя ледяные пальцы уже сжали мое сердце.

— Куда она ушла? — спросил я в четвертый раз.

— Не знаю я... Мы не знаем... Ах, Вилли, она ушла вчера утром. Я сказала ей: «Нетти, не слишком ли ты приделась для утреннего визита?» А она ответила: «В такой хороший день хочется хорошо одеться». Вот что она мне сказала, и это-были ее последние слова. Подумай, Вилли, дитя, которое я выкормила своею грудью.

— Да, да, — сказал я. — Куда же она ушла?

Миссис Стюарт снова зарыдала и начала рассказывать, спеша и захлебываясь слезами:

— Она ушла веселая, сияющая, ушла навеки из родного дома. Она улыбалась, Вилли, как будто радовалась, что уходит. («Радовалась, что уходит», — повторил я, беззвучно шевеля губами.) «Ты слишком уж нарядилась, — сказала я ей, — слишком нарядилась». А отец говорит: «Пусть девочка наряжается, пока молода». И куда только она запрятала узел со своими вещами, чтобы потом унести? Ведь она ушла из родного дома навеки!

Наконец она успокоилась.

— Пусть девочка наряжается, — повторяла она, — пусть девочка наряжается, пока молода... Как нам теперь жить, Вилли? Он этого не показывает, но он совсем убит, убит, сражен в самое сердце. Она всегда была его любимицей. Никогда он не любил Пус так, как ее. А она причинила ему такое горе...

— Куда же она ушла? — перебил я ее наконец.

— Мы сами не знаем. Бросила своих близких, а сама доверилась... О Вилли, это убьет меня! Я бы хотела, чтобы мы вместе с ней лежали сейчас в могиле.

— Но... — Я смочил языком пересохшие губы и медленно проговорил: — Может быть, она ушла, чтобы выйти замуж?

— Если бы это было так! Я молю бога, чтобы это было так, Вилли. Я его умоляла, чтобы он заставил его сжалиться над ней, того, с кем она теперь.

— Кто он? — выпал-ил я.

— В своем письме она пишет, что он джентльмен. Пишет, что он джентльмен.

— Пишет? Она написала? Покажите мне письмо!

— Оно у отца.

— Но если она пишет... Когда вы получили письмо?

— Оно пришло сегодня утром.

— Но откуда оно пришло? Ведь можно узнать...

— Она этого не пишет. Она пишет, что счастлива. Любовь, она пишет, налетела на нее, как ураган...

— Проклятье! Где же письмо? Покажите мне его. А насчет этого джентльмена...

Она впиалась в меня глазами.

— Вы его знаете?

— Вилли! — воскликнула она.

— Сказала она вам это или не сказала, вы знаете, кто он.

Она молча покачала головой, но это вышло совсем не убедительно.

— Молодой Веррол?

Она не ответила и тотчас же начала говорить о другом.

— Все, что я могла сделать для тебя, Вилли...

— Это молодой Веррол? — настаивал я.

Секунду, быть может, мы молча смотрели друг другу в глаза, отлично понимая друг друга... Потом она бросилась к комоду и вновь схватила мокрый носовой платок. Я знал, что она спасается от моих беспощадных глаз.

Моя жалость к ней исчезла. Она знала так же хорошо, как и я, что это был сын ее госпожи. И она уже давно это знала, она чувствовала.

С минуту я стоял над ней, возмущенный. Потом вдруг вспомнил про старого Стюарта в теплице, повернулся и стал спускаться с лестницы. На ходу я оглянулся и увидел, как миссис Стюарт, сгорбившись, медленно входит в свою комнату.

Старый Стюарт был жалок.

Я нашел его в теплице в той же позе и на том же месте, где видел раньше. Он не пошевелился, когда я подошел к нему, только мельком взглянул на меня и опять уставился на горшок с цветами.

— Эх, Вилли, — сказал он, — несчастный это день для всех нас.

— Что вы собираетесь делать? — спросил я.

— Мать так расстроена, — сказал он, — что я ушел сюда.

— Что вы намерены делать?

— Что же можно делать в таком случае?

— Что делать? Как что делать?! — воскликнул я. — Нужно...

— Он должен на ней жениться, — сказал Стюарт.

— Конечно, должен! Это-то он должен сделать, во всяком случае.

— Должен, да. Это... это жестоко. Но что я могу тут поделать? Предположим, он не захочет? Наверное, не захочет. Что же тогда?

Он умолк в безмерном отчаянии.

— И вот этот дом, — заговорил он, как бы продолжая про себя какую-то мысль, — мы в нем всю жизнь, можно сказать, прожили... Выехать из него... В моем возрасте... Нельзя же умирать в трущобе.

Я старался догадаться, какими мыслями заполняются в его голове секунды молчания между этими отрывочными словами. Его оцепенение и вялая покорность судьбе, сквозившие в этих словах, возмущали меня.

— У вас письмо? — резко спросил я.

Он полез в боковой карман, с минуту оставался неподвижным, потом очнулся, вытащил письмо, неловкими руками вынул его из конверта и молча протянул мне.

— Что это? — спросил он, впервые взглянув на меня. — Что это с твоей щекой, Вилли?

— Ничего, ушибся, — ответил я и развернул письмо.

Оно было написано на изящной зеленоватой бумаге и изобиловало обычными для Нетти избитыми и неточными

выражениями. По почерку не было заметно следов волнения; он был круглый, прямой и четкий, как на уроке чистописания. Ее письма всегда походили на маски: за ними, точно за занавесью, скрывалось изменчивое очарование ее лица, совершенно забывался звук ее звонкого голоса, и можно было только изумляться тому, что такое ничем не примечательное существо полонило мое сердце и гордость.

Что говорилось в этом письме?

«Дорогая матушка!

Не тревожьтесь, что я ушла. Я нахожусь в безопасном месте с человеком, который очень меня любит. Я жалею вас, но иначе не могло быть. Любовь — такая мудреная вещь и овладевает человеком совсем неожиданно. Не думайте, что я стыжусь, я горжусь своей любовью, и вы не должны очень беспокоиться обо мне. Я очень, очень счастлива. (Последние слова густо подчеркнуты.)

Сердечный привет отцу и Пус.

Ваша любящая Нетти».

Странный документ! Теперь я вижу всю его детскую простоту, но тогда я читал его с мукой подавленного бешенства. Оно погрузило меня в бездонный позор, мне казалось, что я буду покрыт бесчестьем, если не отомщу. Я стоял, смотрел на эти круглые, прямые буквы и не мог ни заговорить, ни пошевелинуться. Наконец я украдкой взглянул на Стюарта.

Он держал конверт в своих заскорузлых пальцах и смотрел на почтовую марку.

— Неизвестно даже, где она, — сказал он со вздохом, переворачивая конверт, и опустил руку. — Тяжело нам, Вилли. Жила она тут; не на что ей было жаловаться; все ее баловали. Даже по хозяйству никакой работы ей не давали. И вот она ушла, покинула нас, как птица, у которой выросли крылья. Не доверяла нам, вот что мне всего больнее. Кинулась очертя голову... Да, что-то с ней будет?..

— А с ним что будет?

Он покачал головой в знак того, что это уж совсем не его ума дело.

— Вы поедете за ней, — сказал я спокойно и решительно, — вы заставите его жениться на ней.

— Куда я поеду, — спросил он, беспомощно протягивая мне конверт, — и что я могу сделать?.. Если бы я даже и знал куда... Как же я могу оставить сад?

— Господи, — вскричал я, — нельзя оставить сад! Дело идет о вашей чести! Если бы она была моей дочерью... если бы она была моей дочерью... да я бы весь мир разнес на куски...

Я задохнулся.

— Неужели вы намерены снести это?

— Что же я могу сделать?

— Заставить его жениться! Отхлестать его кнутом! Отхлестать, как собаку, говорю я. Я бы его задушил!

Он тихонько почесал свою волосатую щеку, открыл рот и покачал головой. Потом невыносимым тоном тупого житейского благоразумия сказал:

— Нашему брату, Вилли, так поступать не полагается.

Я был в ярости. У меня даже появилось дикое желание ударить его по лицу. Раз в детстве я нашел птицу, всю истерзанную какой-то кошкой, и вне себя от невыносимой жалости и ужаса я убил птицу. То же чувство охватило меня теперь, когда эта позорно приниженная душа пресмыкалась передо мною в грязи. Потом я совершенно перестал принимать его в расчет.

— Можно посмотреть? — спросил я.

Он неохотно протянул мне конверт.

— Вот видишь, — сказал он, ткнув своим загрубевшим пальцем, — э-п-э-м. Что тут разберешь?

Я взял конверт. На почтовую марку в то время накладывался обыкновенный круглый штемпель с названием места отправления и числом. Но здесь либо нажим был слишком слаб, или мало было краски на печати, но оттиснулась только половина букв: «Шэп-м» и ниже очень смутно «заказное».

Меня точно озарило, и я тотчас же угадал название Шэпхембери. Самые пробелы помогли мне прочесть, или, быть может, на них остались слабые очертания букв или хоть намеки на них. Я знал, что это место находится где-то на восточном берегу, в Норфолке или Суффолке.

— Да ведь это... — воскликнул я и осекся.

Зачем ему знать?

Старый Стюарт быстро поднял на меня глаза и почти со страхом взглянул мне в лицо.

— Уж не разобрал ли ты названия? — спросил он.

«Шэпхембери — только бы не забыть», — подумал я.

— Неужели разобрал? — настаивал он.

Я отдал ему конверт.

— Мне сначала показалось, что это Гемптон.

— Гемптон, — повторил он, вертя в руках конверт. — Гемптон. Где же тут Гемптон? Нет, Вилли, ты еще хуже меня разбираешь.

Он вложил письмо обратно в конверт и выпрямился, чтобы вновь спрятать его в боковой карман.

Рисковать было нельзя. Я вынул из кармана огрызок карандаша, отвернулся и быстро записал «Шэпхембери» на моей протертой и довольно грязной манжете.

— Ну что ж, — сказал я с видом человека, не сделавшего ничего особенного, и обратился к Стюарту с каким-то замечанием — уж не помню с каким, — но не успел его договорить.

К дверям теплицы кто-то подошел.

Это была старая миссис Веррол.

Не знаю, смогу ли я дать вам о ней ясное представление. Это была маленькая пожилая особа с необычайно светлыми льняными волосами и с выражением достоинства на остроносом лице. Она была очень богато одета. Я бы хотел, чтобы слова «богато одета» были подчеркнуты или напечатаны затейливым, староанглийским или, пожалуй, даже готическим шрифтом. Никто на свете не одевается теперь так богато, как она; никто — ни молодой, ни старый — не позволит себе такой некричащей и в то же время претенциозной роскоши. В фасоне ее платья не было ничего необычного, не было в нем и никакой особенной красоты или богатства красок. Господствующими цветами были черный или коричневый, и все богатство костюма заключалось в чрезвычайной дороговизне материала, из которого он был сшит. Она предпочитала шелковую парчу с очень пышным узором, дорогие черные кружева на шелку

молочного или пурпурного цвета, сложные нашивки из полосок бархата; зимой она носила редкие меха. Ее перчатки были безукоризненны; изысканно-простая золотая цепочка, нитка жемчуга, множество браслетов довершали убранство этой маленькой женщины. Чувствовалось, что малейшая подробность ее костюма стоит дороже, чем весь гардероб дюжины таких девушек, как Нетти. Ее шляпа отличалась той простотой, которая стоит дороже драгоценных камней. Богатство — вот первый отличительный признак старой дамы, чистота — второй. Вы невольно чувствовали, что старая миссис Веррол необычайно чисто вымыта. Если бы мою милую, бедную, старую мать целый месяц кипятили в соде, то и тогда она не выглядела бы такой чистой, как неизменно выглядела миссис Веррол. Кроме того, все ее существо излучало третий отличительный признак — твердая, как скала, уверенность в почтительном подчинении ей всего мира.

В этот день она казалась бледной и утомленной, но такой же самоуверенной, как обычно. Мне было ясно, что она пришла допросить Стюарта относительно взрыва страсти, перебросившего мост над пропастью, разделяющей их семейства.

Но я, кажется, снова пишу на языке, незнакомом младшему поколению моих читателей. Зная мир лишь после Великой Перемены, они не поймут моего рассказа. И в этом случае я не могу, как в других, сослаться в подтверждение своих слов на старые газеты; об этих вещах никто не писал, так как все их понимали и все относились к ним определенным образом. Здесь, в Англии, да и в Америке, как, впрочем, и во всем мире, человечество делилось на две основных группы: на обеспеченных и необеспеченных. Собственно, знати ни в одной из этих стран не было, а считать за таковую английских пэров значило заблуждаться, — ни закон, ни обычай не устанавливал фамильного благородства; не было также в этих странах такой категории «неимущего дворянства», какая была, например, в России. Пэрство было наследственной собственностью, переходившей вместе с фамильной землей только к старшему сыну семьи; и выражения «Noblesse oblige»^[3] оно никогда не оправдывало. Все остальные принадлежали к престонародью — таковой была вся Америка. Но вследствие частной собственности на землю, возникшей в Англии, благодаря пренебрежению феодальными обязанностями, а в Америке

благодаря полному отсутствию политического предвидения, большие имущества искусственно скопились и удерживались в руках небольшого меньшинства, к которому поневоле попадало в залог всякое новое общественное или частное предприятие. Это меньшинство объединяли не традиции заслуг или благородства, а естественная тяга друг к другу людей, имеющих общие интересы и ведущих одинаково широкий образ жизни. Определенных границ у этого класса не было; сильные индивидуальности из рядов необеспеченных проталкивались в ряды обеспеченных, пользуясь для этого в большинстве случаев отчаянными и часто сомнительными средствами, а сыновья и дочери обеспеченных, вступив в брак с необеспеченными, промотав свое имущество или предавшись отвратительным порокам, впадали в нужду, в которой жило остальное население. Это население не имело земли и приобретало законное право на существование, лишь работая прямо или косвенно на обеспеченных. И такова была ограниченность и узость нашего мышления, такой глубокий эгоизм душил все чувства накануне последних дней, что очень немногие из обеспеченных способны были усомниться в том, что естественный, единственно мыслимый порядок вещей — это именно тот, который тогда существовал.

Я описываю здесь жизнь необеспеченных при старом порядке и надеюсь, что вы поймете, как она была беспросветна, но вы не должны вообразить, будто обеспеченные жили безоблачно райской жизнью. Бездонная пропасть необеспеченности под их ногами давала себя чувствовать, хотя и оставалась непонятной. Жизнь вокруг них была безобразной. Они не могли не замечать ужасных зданий, дурно одетого народа, не могли не слышать вульгарных криков уличных продавцов дрянного товара. В их душах за порогом сознания жила тревога; у них не только не было логического мышления в вопросах общественно-экономических, но они инстинктивно отмахивались от всяких мыслей об этом. Их обеспеченность была слишком ненадежной, они постоянно боялись упасть в пропасть, и они постоянно привязывали себя новыми веревками; культивирование «связей», «интересов», стремление упрочить и улучшить свое положение были их постоянной и весьма постыдной заботой. Прочтите Теккерея, чтобы представить себе целиком ту атмосферу, в которой они жили. Кроме того, всевозможные бактерии относились

без должного уважения к различию классов, и слуги тоже не всегда были достаточно хороши. Прочтите пережившие их книги. Каждое их поколение жаловалось на упадок «преданности» среди слуг, той преданности, которой ни одно поколение никогда не видело. Мир, оскверненный в одном месте, осквернен вообще; но этого они никогда не понимали. Они верили, что всего на всех все равно не хватит и что тут ничего не поделаешь, ибо такова воля божья, и страстно, с незыблемой уверенностью в своих правах держались за свою непомерно большую долю. Все практически обеспеченные принадлежали к «обществу», вращались в нем, и самый выбор этого слова достаточно характеризует их философию. Но если вы в состоянии понять те сумасшедшие идеи, на которых покоился старый мир, то поймете и все отвращение и ужас, которые эти люди питали к бракам с необеспеченными. С их девушками, с их женщинами это случалось очень редко и для обоих полов считалось бедствием и преступлением против общества. Все что угодно, только не это.

Теперь вам, вероятно, ясна та ужасная судьба, которая в большинстве случаев ожидала девушку из класса необеспеченных, если она, полюбив, отдавалась любимому без брака, и вы поймете положение Нетти и молодого Веррола. Один из двух должен был принести жертву. А так как оба они были в состоянии сильнейшей восторженности и способны на любые жертвы друг для друга, то исход казался сомнительным, и миссис Веррол, естественно, беспокоилась, как бы страдающей стороной не оказался ее сын, как бы Нетти не вышла из этого пожара страсти будущей хозяйкой Чексхилл-Тауэрс. Конечно, такой исход был маловероятен, но все же он был возможен.

Я знаю, что такие законы и обычаи покажутся вам отвратительным плодом больного воображения; но они были непреоборимыми фактами в том исчезнувшем теперь мире, где я имел случай родиться, а безумием там считались мечты о лучшем строе. Подумайте только: девушка, которую я любил всей душой, для которой готов был пожертвовать жизнью, была недостаточно хороша, чтобы стать женой молодого Веррола. А между тем стоило мне только взглянуть на его гладкое, красивое, бесхарактерное лицо, чтобы признать в нем существо более слабое, чем я, и ничем не лучше. Он будет наслаждаться ею, пока она ему не надоест, — таково ее будущее.

Яд нашей общественной системы до такой степени пропитал ее натуру, что фрак Веррола, его свобода, его деньги показались ей прекрасными, а я — грязным оборванцем, и она согласилась на подобное будущее. Чувство ненависти к общественным условиям, порождающим подобные случаи, называлось тогда «классовой завистью», а проповедники из благородных упрекали нас за самый мягкий протест против таких несправедливостей, каких теперь никто не стал бы выносить и никто не захотел бы чинить.

Какой был смысл постоянно твердить слово «мир», когда никакого мира не было? Единственная надежда, которая оставалась людям, заключалась в восстании, в борьбе не на жизнь, а на смерть.

Если вы уже поняли всю постыдную нелепость старой жизни, вы сами угадаете, как именно должен я был объяснить себе появление старой миссис Веррол.

Она пришла, чтобы уладить неприятное дело!

И Стюарты пойдут на компромисс — я это слишком хорошо видел.

Эта перспектива внушала мне такое отвращение, что я поступил очень неразумно и резко. Ни за что на свете не хотел я быть свидетелем встречи Стюарта с его хозяйкой, не хотел видеть его первого жеста и стремился избежать этого.

— Я ухожу, — сказал я и, не прощаясь со стариком, повернулся к двери.

Старая дама стояла на моем пути, и я направился прямо к ней.

Я видел, что выражение ее лица изменилось, рот слегка открылся, лоб сморщился, а глаза стали круглыми. Уже с первого взгляда она, очевидно, нашла меня странным субъектом, а шел я к ней с таким видом, что у нее перехватило дыхание.

Она стояла на верху лестницы из трех или четырех ступенек в теплицу. При моем приближении она отступила шага на два с видом достоинства, оскорбленного моим стремительным напором.

Я с ней не поздоровался.

Нет, впрочем, я поздоровался с ней. У меня теперь уже нет возможности извиниться за то, что я ей сказал. Вы видите, я рассказываю вам все до конца, ничего не скрывая. Но если мне удастся достаточно ясно объяснить вам, вы поймете и простите меня.

Я был охвачен дикой и неодолимой жадой оскорбить ее, и я сказал, вернее, выкрикнул в лицо этой несчастной разодетой старухе, имея в виду всех ей подобных.

— Вы проклятые грабители, вы украли у нас землю! — крикнул я прямо ей в лицо. — Вы пришли предложить им деньги!

И, не дожидаясь ответа, я грубо прошел мимо и, быстро шагая с яростно сжатыми кулаками, вновь исчез из ее мира...

Я пытался потом представить себе, каким этот эпизод должен был показаться ей с ее точки зрения. До того момента, когда она, взволнованная, спустилась в свой надежно укрытый от всего мира сад и пришла к теплице, разыскивая Стюарта, я в ее частном мире совершенно не существовал, или если и существовал, то как ничтожное черное пятнышко, промелькнувшее по ее парку. У зеленой теплицы, на вымощенном кирпичом проходе, я вдруг появился в ее мире в виде подозрительного, плохо одетого молодого человека, который вначале Непочтительно вытаращил на нее глаза, а потом начал приближаться с нахмуренными бровями. С каждым мгновением я становился все больше, все значительнее, все страшнее. Поднявшись по ступеням с откровенной и вызывающей враждебностью, я остановился над ней, точно грозный призрак второй французской революции, и с ненавистью выкрикнул ей в лицо свои оскорбительные и непонятные слова. На секунду я показался ей грозным, как уничтожение. К счастью, дальше этого я не пошел.

А затем я исчез, и вселенная осталась тою же, какой была всегда, только дикий вихрь, пронесшись мимо, пробудил в ней смутное чувство тревоги.

В то время большинство богатых людей были убеждены, что имеют полное право на свое богатство, но мне это тогда и в голову не приходило. Я считал, что они смотрят на вещи точно так же, как я, но по своей подлости отрицают это. В сущности же, миссис Веррол была так же неспособна усомниться в неотъемлемом праве своей семьи господствовать в целом округе, как подвергнуть сомнению тридцать девять догматов англиканского вероисповедания или еще какие-либо из столпов, на которых надежно покоился ее мир.

Я, несомненно, ошеломил и ужасно напугал ее, но понять она ничего не могла.

Люди ее класса никогда, по-видимому, не понимали тех вспышек смертельной ненависти, которые порой освещали тьму, кишевшую под их ногами. Ненависть вдруг появлялась из темноты и через минуту исчезала снова, как возникает и исчезает во мраке угрожающая фигура на краю пустынной дороги при свете фонаря запоздалой кареты. Они относились к таким явлениям, как к дурным снам, волнующим, но несущественным, стараясь поскорей их забыть.

4. Война

Оскорбив миссис Веррол, я почувствовал себя представителем и защитником всех обездоленных. У меня не было больше никакой надежды ни на гордость, ни на радость в жизни; я в ярости восстал против бога и людей. Теперь у меня уже не было никаких колебаний: я твердо и ясно знал, что мне делать. Я заявлю свой протест и умру.

Протест, а потом смерть. Я убью Нетти — Нетти, которая улыбалась, обещала и отдалась другому. Она казалась мне теперь олицетворением всей полноты счастья, всего, чего жаждало молодое воображение, всех недостижимых радостей жизни. Я убью и Веррола. Он ответит мне за всех, кто пользуется несправедливостью нашего общественного строя. Убью обоих, а потом пущу себе пулю в лоб и посмотрю, какое возмездие постигнет меня за решительный отказ от жизни.

Я так решил. Ярость моя не знала границ. А надо мной поднимался к зениту гигантский метеор, затмивший звезды и торжествующий над желтой убывающей луной, которая покорно следовала за ним внизу.

— Только бы убить! Только бы убить! — кричал я.

Моя горячка была так сильна, что я не замечал ни голода, ни усталости. Долго бродил я по пустоши, которая тянулась к Лоучестеру, говоря сам с собой, и только поздно ночью побрел обратно, за все долгие семнадцать миль даже не подумав об отдыхе, а ведь я ничего не ел с самого утра.

Я был словно не в своем уме, но хорошо помню все свои безумства.

Порой я, рыдая, бродил в этом ослепительном сиянии, которое не было ни днем, ни ночью. Порой я отчаянно и сумбурно спорил с тем, что я называл Духом всего сущего. Но при этом я всегда обращался к этому белому сверканию в небе.

— Почему я рожден лишь для того, чтобы терпеть унижения? — вопрошал я. — Почему ты дал мне гордость, которую я не могу насытить, и желания, которые оборачиваются против меня и

разрывают мне душу? Уж не шутишь ли ты со своими гостями здесь, на земле? Я — даже я! — неспособен на такие злые шутки.

— Почему бы тебе не поучиться у меня хоть какой-либо порядочности и милосердию? Почему бы тебе не исправить то, что ты натворил? Ведь я никогда не мучил изо дня в день какого-нибудь несчастного червяка, не заставлял его копошиться в грязи, которая ему отвратительна, не заставлял умирать от голода, не терзал его и не издевался над ним. Зачем же тебе так поступать с людьми? Твои шутки ничуть не смешны. Попробуй развлекаться не так жестоко, слышишь? Придумай что-нибудь, что ранит не так больно.

— Ты говоришь, что делаешь это нарочно, по крайней мере со мной. Ты заставляешь мою душу корчиться в нестерпимых муках. Ну как мне тебе верить? Ты забываешь, что я вижу и другую жизнь. Ну ладно, забудем обо мне; ну, а лягушка, раздавленная колесом? Или птица, которую растерзала кошка?

И после всех этих богохульств я нелепым ораторским жестом с вызовом вскидывал к небесам жалкую руку.

— А ну-ка, ответь мне на все это.

Неделю тому назад лунный свет расчерчивал парк белыми и черными полосами, теперь же свет окутывал землю ярким мерцающим сиянием. Необычайно низкий белый туман, не поднимавшийся выше трех футов над землей, задумчиво скользил по траве, а деревья возникали привидениями из этого заколдованного озера. Величественным, таинственным, странным казался мир в эту ночь, и ни души кругом, только мой слабый, надтреснутый голос раздавался в молчаливой, загадочной пустоте.

Иногда я рассуждал, как уже рассказывал ранее, иногда, спотыкаясь, брел вперед в мрачной рассеянности, иногда мои страдания были особенно остры и мучительны.

Клокочущий пароксизм бешенства вырывал меня из апатии, когда я вспоминал о Нетти: она насмехается надо мной, она, и с ней вместе Веррол, они в объятиях друг друга...

«Не допущу, не допущу!» — кричал я и в один из этих припадков бешенства выхватил из кармана револьвер и выстрелил в тишину ночи. Три выстрела.

Пули пронзили воздух, испуганные деревья все слабеющим отзвуком рассказывали друг другу о том, что я сделал, а затем снова все успокоила огромная терпеливая ночь. Мои выстрелы, мои проклятия, мои молитвы — да, я пытался и молиться — поглотило молчание.

Это был — как бы выразиться? — придушенный крик, затихший, потерявшийся во всепоглощающем царстве безмятежного сияния. Гром моих выстрелов и повторявшего их эха на одно мгновение потряс меня, а затем все стихло. Я увидел, что стою с поднятым револьвером, изумленный, проникнутый каким-то чувством, которого не мог понять. Я взглянул вверх на великую звезду и так и замер в созерцании.

— Кто ты? — спросил я наконец.

Я походил на человека, в безлюдной пустыне вдруг услышавшего чей-то голос...

Но прошло и это.

В Клейтон-Крэсте, помню, не было обычной толпы, которая каждый вечер сходилась сюда смотреть на комету; не было и маленького проповедника на пустыре, призывавшего грешников покаяться перед днем Страшного суда.

Было далеко за полночь, и все уже просто разошлось по домам. Но сразу мне это не пришло в голову, и безлюдье как-то встревожило меня. Газовые фонари были погашены, потому что ярко светила комета, и это тоже было непривычно и беспокойно. Уличный торговец газетами на затихшей Главной улице запер киоск и ушел спать, но одно объявление он забыл убрать. На нем огромными буквами отпечатано было единственное слово: «ВОЙНА».

Представьте себе пустую, безлюдную, жалкую улицу, без единого звука, кроме гулкого эха моих шагов, и меня, остановившегося перед объявлением. И среди сонного покоя, на криво наклеенном впопыхах листе ясно видимое при холодном, безжалостном свете метеора безумное, ужасное, полное безмерных бедствий слово: «ВОЙНА».

Наутро я проснулся в том состоянии душевного равновесия, которое так часто следует за бурными порывами.

Было уже поздно, и мать стояла около моей постели. Она принесла мне завтрак на старом помятом подносе.

— Не вставай, дорогой, — уговаривала она. — Ты спал, когда я вошла. Ты вернулся в три часа ночи. Верно, сильно устал. Лицо у тебя, — продолжала она, — было белое, как полотно, а глаза блестели... Я просто испугалась, когда отворила. А на лестнице ты чуть не падал.

Я спокойно взглянул на вздувшийся карман своего пиджака. Револьвера она, кажется, не заметила.

— Я был в Чексхилле, — сказал я, — ты, наверно, знаешь?..

— Вчера вечером я получила письмо, дорогой. — Она наклонилась надо мною, чтобы поставить поднос мне на колени, и нежно поцеловала меня в голову. На минуту мы замерли в таком положении, ее щека касалась моей головы.

Я взял от нее поднос, чтобы положить конец этой паузе.

— Не трогай моего платья, мама, — сказал я резко, когда она протянула к нему руку. — Со щеткой я и сам управлюсь.

Она покорно направилась к двери, и тут я удивил ее словами:

— Ты очень добрая, мама, я знаю... Только пока, мама, милая, оставь меня. Оставь меня!

И она ушла от меня смиренно, как служанка. Бедное покорное сердце, измученное жизнью и мною!

В то утро мне казалось, что у меня никогда уже больше не будет таких приступов бешенства. Мною овладела печальная решимость. Моя цель казалась мне теперь непоколебимой, твердой, как скала, во мне не было уже ни любви, ни ненависти, ни страха, — была только острая жалость к матери из-за того, что должно случиться. Я медленно съел свой завтрак, раздумывая о том, как бы узнать, где находится Шэпхембери и как мне туда добраться. С деньгами было плохо — у меня не было и пяти шиллингов.

Я старательно оделся, выбрав наименее потертый из своих воротничков, и выбрился тщательнее обыкновенного; затем я отправился в публичную библиотеку посмотреть на карту.

Шэпхембери оказался на побережье в Эссексе, — это означало сложное и долгое путешествие из Клейтона. Я пошел на станцию и переписал расписание поездов. Носильщик, к которому я обратился с вопросом, и сам не знал ничего толком про Шэпхембери, но кассир

помог мне, и мы вдвоем разыскали все, что мне требовалось узнать. Потом я снова очутился на усыпанной углем улице. Мне нужно было по меньшей мере два фунта.

Я опять пошел в читальню публичной библиотеки раздумывать над этой задачей в газетном зале.

И тут я заметил, что публика с непривычной жадностью набрасывается на утренние газеты: в атмосфере читальни было что-то необычное, гораздо больше народу и разговоров, чем всегда. На минуту я удивился, потом вспомнил: «Да ведь война с Германией!» Предполагали, что в Северном море происходит морское сражение. Ну и пусть себе. Я вновь вернулся к своим мыслям.

Парлод?

Пойти помириться с ним и попросить денег взаймы?

Я обдумал это со всех сторон. Потом стал думать о том, что можно продать или заложить, но это было не так-то легко. Мое зимнее пальто и новое-то не стоило фунта, часы же не могли принести больше нескольких шиллингов. И все же эти две вещи кое-что дадут. Мать, вероятно, копит деньги на квартирную плату, но об этом мне противно было и думать. Она усиленно их прятала и держала в спальне запертыми в старом ящичке из-под чая. Я знал почти наверное, что добровольно она не даст из них ни пенса, и хотя уверял себя, что в деле страсти и смерти ничто не имеет значения, все же я не мог отделаться от мучительных укоров совести, когда вспоминал о ящичке из-под чая.

Нет ли других путей? Быть может, испробовав все остальные возможности, я смогу просто выпросить у нее несколько недостающих шиллингов? «Те, другие, — думал я, на этот раз довольно хладнокровно, про обеспеченных, — вряд ли разыгрывали бы свои романы на деньги, занятые у ростовщика. Как бы то ни было, я должен найти выход».

Я чувствовал, что день проходит, но это меня не тревожило. «Тише едешь, дальше будешь», — говаривал Парлод, и я решил сначала обдумать все до последней мелочи, медленно и тщательно прицелиться и только потом уже действовать мгновенно, как пуля.

Идя домой обедать, я замедлил было шаг у ломбарда: не зайти ли сейчас же заложить часы, — но потом решил отнести их вместе с пальто.

Я ел, молча обдумывая свои планы.

После обеда — картофельная запеканка с капустой, чуть сдобренная свиным салом, — я надел пальто и вышел из дому, пока мать мыла посуду в судомойне.

В те времена судомойней в таких домах, как наш, называлось сырое, зловонное подвальное помещение позади кухни, тоже темной, но все-таки жилой. Наша судомойня была особенно грязна, потому что из нее был вход в угольный подвал — зияющую темную яму с хрустящими на кирпичном полу кусочками угля. Здесь была область «мойки» — грязное, противное занятие, следовавшее за каждой едой. Я до сих пор помню гнилую сырость этого места, запах вареной капусты, черные пятна сажи там, куда на минутку поставили сковородку или чайник, картофельную шелуху на решетке под сточной трубой и отвратительные лохмотья, называвшиеся «посудными тряпками». Алтарем этого храма была раковина — большой каменный чан для мытья посуды, отвратительный на ощупь, покрытый слоем жирной грязи; над ним находилась трубка с краном, устроенным таким образом, что холодная вода брызгала и окатывала каждого, кто его отвертывал. Этот кран снабжал нас водой. И в таком-то месте представьте себе маленькую старушку — мою мать, — неловкую и беспомощную, очень кроткую и самоотверженную, в грязном выцветшем платье, казавшемся теперь пыльно-серым, в изношенных грязных башмаках не по мерке, с руками, изуродованными черной работой, с непричесанными седыми волосами. Зимой ее руки потрескаются, и ее будет мучить кашель. И пока она моет там посуду, я ухажу продавать пальто и часы, чтобы покинуть ее.

Насчет заклада вещей у меня вдруг возникли непонятные колебания. Стесняясь закладывать в Клейтоне, где закладчик меня знал, я снес их в Суотингли на Лин-стрит, где купил свой револьвер. Тут мне пришло в голову, что не следует давать о себе столько улик одному и тому же человеку, и я унес вещи обратно в Клейтон. Не помню, сколько я получил за них, но денег не хватило на билет до Шэпхембери даже в один конец. Ничуть этим не обескураженный, я вернулся в публичную библиотеку посмотреть, нельзя ли где-нибудь

сократить путь, пройдя миль десять — двенадцать пешком. Но башмаки мои были в самом печальном состоянии, вторая подошва тоже отпала, и мне пришлось примириться с мыслью, что такое путешествие пешком они не выдержат. Для обычной ходьбы они еще годились, но не для такой спешки. Я побывал у сапожника на Гэккер-стрит, но он не мог взяться за починку раньше чем через два дня.

Домой я вернулся без пяти три, решив, во всяком случае, ехать в Бирмингем с пятичасовым поездом, хотя и видел, что денег не хватит. Я бы охотно продал какую-нибудь книгу или еще что-нибудь, но не мог найти ничего ценного. Серебро матери — две десертных ложки и солонка — уже несколько недель лежали в закладе, попав туда в июне, в день взноса трехмесячной квартирной платы. Но я не терял надежды что-нибудь придумать.

Поднимаясь на крыльцо, я заметил, что мистер Геббитас выпянул из-за бледно-красных гардин с какой-то тревожной решимостью в глазах и тотчас же скрылся, а когда я проходил по коридору, он внезапно открыл свою дверь и перехватил меня.

Представьте себе мрачного неотесанного парня, в дешевом костюме того времени, настолько изношенном, что он весь лоснился, в выцветшем красном галстуке и с обтрепанными манжетами. Моя левая рука все время была в кармане, видимо, не желая расстаться с чем-то, что она там сжимала. Мистер Геббитас был ниже меня ростом, и каждый с первого взгляда отмечал в нем что-то острое, птичье. Мне кажется, он хотел бы походить на птицу, и была в нем какая-то птичья прелесть, но у него не было ни капли резвости и жизнерадостности, которая есть у птицы. Притом у птицы никогда не бывает одышки и она не стоит, разинув рот. Мистер Геббитас был одет в сутану — обычное платье священников того времени, кажущееся теперь самым странным из всех тогдашних костюмов, причем оно было из самой дешевой черной материи, плохо скроено и плохо сидело на нем, выставляя напоказ круглое брюшко и короткие ноги. Белый галстук под круглым воротничком, над которым возвышалось наивное лицо и большие очки, был измят, в желтых зубах он держал короткую трубку. Хотя ему было не больше тридцати трех — тридцати четырех лет, кожа у него была вялая, а рыжеватые волосы начали уже редеть на макушке.

Теперь он показался бы на редкость странным существом уже по одному тому, что во всей его фигуре не чувствовалось ни тени физической красоты или достоинства. Вы нашли бы его совершеннейшим чудаком, но в старом мире он считался почтенной персоной. Год назад он был еще жив, но после Перемены его было не узнать. А в тот день это был очень неряшливый и невзрачный человек. Уродливо и неряшливо было не только его платье; если бы его раздеть догола, то в отвисшем животе, вследствие вялости мышц и отсутствия контроля над собственным аппетитом, в жирных плечах, в желтоватой нечистой коже вы увидели бы то же отсутствие стремления к красоте чистоты, отсутствие, в сущности, самого чувства этой красоты. Инстинктивно чувствовалось, что таким он был всегда, что он не только плыл всю жизнь по течению, ел все, что попадалось, верил во все, во что полагалось верить, и вяло делал то, что приходилось делать, но что и в жизнь-то он был вынесен тем же течением. Невозможно было представить, чтобы он был плодом гордого созидания или пылкой, страстной любви. Родился он просто *случайно* ... Но ведь не он один — все мы были тогда только простыми случайностями.

Почему же я принимаю такой тон по отношению к одному только бедному священнику?

— Здравствуйте, — сказал он дружески развязным тоном, — давненько я вас не видел. Входите, поболтаем.

Приглашение жильца, снимавшего гостиную, равнялось приказанию. Мне бы очень хотелось отказаться — никогда еще подобное приглашение не было более несвоевременным, — но никакой отговорки не приходило в голову, а он держал дверь открытой.

— Хорошо, — сказал я смущенно.

— Я буду очень рад, если вы зайдете, — продолжал он. — Не часто удается в нашем приходе поговорить с умным человеком.

«На какого черта я ему понадобился?» — думал я про себя. Он суетился вокруг меня с назойливым гостеприимством, бросал отрывистые фразы, потирал руки и смотрел на меня то поверх очков, то сбоку. Когда я уселся в его кожаное кресло, мне почему-то вспомнился кабинет зубного врача в Клейтоне.

— Зададут они нам хлопот на Северном море, — сказал он беспечно. — Я рад, что они хотят воевать.

Его комната говорила о том, что здесь живет человек образованный, и я всегда чувствовал себя там не в своей тарелке, так же, как и в этот раз. Стол под окном был завален фотографическими принадлежностями и последними альбомами снимков, сделанных во время путешествия за границей, а на американских полках по обеим сторонам камина за ситцевыми занавесками стояло необычное для того времени количество книг — не менее восьмисот вместе с альбомами и всевозможными учебниками. Впечатление учености еще усиливалось висевшим на зеркале маленьким деревянным щитом с гербом колледжа и фотографией в оксфордской рамке, украшавшей противоположную стену, где был изображен мистер Геббитас в полном наряде оксфордского студента. У середины этой стены стоял письменный стол с множеством ящичков и отделений, как будто владелец был не только культурным человеком, но и литератором. За этим столом мистер Геббитас писал обычно свои проповеди.

— Да, — говорил он, становясь на коврик перед камином, — рано или поздно война должна была начаться, и если мы уничтожим их флот, то дело будет кончено.

Он поднялся на цыпочки, потом опустил на пятки и нежно посмотрел сквозь очки на акварель своей сестры, изображавшую букет фиалок. Акварель висела над буфетом, служившим ему и кладовой, и чайным ларцом, и погребом.

— Да, — повторил он.

Я кашлянул, пытаюсь придумать предлог, чтобы уйти.

Он предложил мне закурить — скверный старинный обычай! — и, когда я отказался, заговорил доверительным тоном об «этой ужасной стачке».

— Тут и война не поможет, — сказал он и на минуту стал очень серьезен.

Потом он заговорил о том, что углекопы, очевидно, нисколько не думают о своих женах и детях, раз они начали стачку только ради своего союза. Я стал возражать, и это немного отвлекло меня от решения поскорее уйти.

— Я не совсем согласен с вами, — сказал я, прочистив горло. — Если бы теперь рабочие не начали бастовать ради своего союза и

допустили, чтобы он был разгромлен, то что будут они делать, когда хозяева вновь начнут снижать заработную плату?

На это он возразил, что не могут же рабочие рассчитывать на высокую заработную плату, если хозяева продают уголь по низкой цене.

— Не в этом дело, — возразил я, — хозяева несправедливы к ним, и рабочие вынуждены защищаться.

— Не знаю, — возразил мистер Геббитас, — я живу здесь, в Четырех Городах, довольно долго и, должен сказать, не думаю, что тяжесть несправедливостей, которые совершают хозяева, так уж велика...

— Вся тяжесть их ложится на рабочих, — согласился я, делая вид, что не понимаю его.

Мы продолжали спорить, а я в душе проклинал и спор и себя за неумение отделаться от собеседника и не мог скрыть своего раздражения. Три красных пятна выступили на щеках и на носу мистера Геббитаса, хотя он говорил по-прежнему спокойно.

— Понимаете, — сказал я, — я социалист. Я думаю, что мир существует не для того, чтобы ничтожное меньшинство плясало на головах у всех остальных.

— Дорогой мой, — сказал его преподобие мистер Геббитас, — я тоже социалист. Кто же теперь не социалист? Но это не внушает мне классовой ненависти.

— Вы не чувствовали на себе тяжести этой проклятой системы, а я чувствовал.

— Ах, — вздохнул он, и тут, как по сигналу, послышался стук в нашу парадную дверь, и, пока он прислушивался, мать впустила кого-то и робко постучалась к нам.

«Вот и случай», — подумал я и решительно поднялся со стула.

— Нет, нет, нет, — запротестовал мистер Геббитас, — это за деньгами для дамского благотворительного общества.

Он приложил руку к моей груди, как бы желая силой удержать меня, и крикнул:

— Войдите!

— Наш разговор как раз начинает становиться интересным, — заметил он, когда вошла мисс Рэмелл, молодая — вернее,

молодящаяся — особа, игравшая большую роль в церковной благотворительности Клейтона.

Он с ней поздоровался — на меня она не обратила никакого внимания — и подошел к письменному столу, а я остался стоять у своего кресла, не решаясь выйти из комнаты.

— Я не помешала? — спросила мисс Рэмелл.

— Нисколько, — ответил мистер Геббитас и, отперев стол, выдвинул ящик. Я невольно видел все его движения.

От него невозможно было отделаться, и это так злило меня, что деньги, которые он вынимал, даже не напомнили мне моих утренних поисков. Я хмуро прислушивался к его разговору с мисс Рэмелл и широко раскрытыми глазами смотрел, не видя, на дно плоского ящика, по которому были разбросаны золотые монеты.

— Они так неблагоприятны, — жаловалась мисс Рэмелл, точно кто-нибудь мог быть благоразумен при таком безумном общественном строе.

Я отвернулся от них, поставил ногу на решетку камина, облокотился на край каминной доски, покрытой плюшевой дорожкой с бахромой, и погрузился в изучение стоявших на нем фотографий, трубок и пепельниц. Что еще мне нужно обдумать до ухода на станцию?

Ах, да. С каким-то внутренним сопротивлением моя мысль сделала скачок — точно что-то силой толкало меня в бездну — и остановилась на золотых монетах, исчезавших в это мгновение, так как мистер Геббитас задвигал ящик.

— Не буду больше мешать вашему разговору, — сказала мисс Рэмелл, направляясь к двери.

Мистер Геббитас любезно суетился около нее, открыл дверь и пошел проводить ее по коридору. На мгновение я необычайно остро почувствовал близость этих десяти или двенадцати золотых монет...

Входная дверь захлопнулась, и он вернулся в комнату. Возможность побега была упущена.

— Мне надо идти, — сказал я, страстно желая поскорее выбраться из этой комнаты.

— Ну что вы, дружище, об этом нечего и думать. Да вам, наверное, и незачем уходить, — настаивал мистер Геббитас. Затем с видимым желанием переменить разговор, спросил:

— Что же вы не скажете мне своего мнения о книге Бэрбла?

Несмотря на мою внешнюю уступчивость, я был теперь очень зол на него. «Зачем я стану скрывать от него свои взгляды или смягчать их? — пришло мне в голову. — Зачем притворяться, будто я чувствую себя ниже его в умственном отношении и считаю более высоким его общественное положение? Он спрашивает, что я думаю о Бэрбле, — я выскажу свое мнение и, если понадобится, даже в резкой форме. Тогда он, может быть, отпустит меня». Я не садился и продолжал стоять у камина.

— Это та маленькая книжка, которую вы дали мне почитать прошлым летом? — спросил я.

— Убедительные доказательства, не правда ли? — спросил он с вкрадчивой улыбкой, указывая мне на кресло.

— Я невысокого мнения о его логике, — ответил я, продолжая стоять.

— Это был умнейший из епископов Лондона.

— Может быть. Но он защищал лукавыми хитросплетениями очень сомнительное дело.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что он неправ. По моему мнению, он своих положений не доказал. Я не считаю христианство истиной. Он только притворяется верующим и сам это знает. Все его рассуждения — чистый вздор.

Мистер Геббитас слегка побледнел и сразу стал менее любезен. Его глаза и рот округлились, даже лицо стало как будто круглее, а брови сдвинулись.

— Мне очень жаль, что вы так думаете, — вздохнул он.

Он не повторил своего приглашения садиться, сделал шаг или два к окну, потом снова обернулся ко мне и заговорил раздражающим тоном снисходительного превосходства:

— Надеюсь, вы допускаете...

Я не буду излагать вам его и мои доводы. Если они вас заинтересуют, вы найдете в каких-нибудь забытых уголках наших книгохранилищ истрепанные дешевые книжонки, какие выпускало,

например, издательство «Просвещение», из которых я почерпнул свои доводы. В этом же своеобразном чистилище, попеременно с ними и ничем от них не отличаясь, хранятся и бесчисленные «Ответы» ортодоксов церкви, словно трупы солдат двух враждующих армий в окопе, за который шло жаркое сражение. Все эти споры наших отцов — а они порой спорили очень ожесточенно — теперь ушли далеко за пределы нашего понимания. Я знаю, вы, молодые, читаете о них с недоумением и досадой. Вам непонятно, как разумные люди могли воображать, будто таким способом можно доказать что-либо. Все старые методы систематического мышления, все нелепости аристотелевой логики вслед за магическими и мистическими числами и путаной магией имен отошли в область невероятного. Вам не понять наших богословских страстей, как не понять и суеверий, что заставляли древних говорить о своих богах только иносказательно, дикарей — чахнуть и умирать только потому, что их сфотографировали, а фермера времен королевы Елизаветы возвращаться с полдороги, когда на пути ему попались три вороны, если даже он ехал в далекую и важную поездку. Даже я, сам прошедший через все это, вспоминаю теперь наши споры с сомнением и недоверием.

Мы и в наши дни принимаем веру — все люди живут верой; но в прежние времена все безнадежно путали подлинную веру с вымученными нелепыми верованиями, со способностью принять некие ложные истины. Я склонен думать, что и верующие и неверующие были тогда лишены веры в нашем нынешнем ее понимании: для такой веры ум их был недостаточно развит. Они способны были поверить только в то, что можно увидеть, потрогать и назвать словами, точно так же, как их древние дикие предки не могли заключить какую-либо торговую сделку без определенных предварительных церемоний. Правда, они больше не поклонялись идолам и не искали утешения в иконах и паломничествах к святым местам, но все еще отчаянно цеплялись за печатное и вслух высказанное слово и за готовые формулы. Но к чему воскрешать отголоски старых словопрений? Скажу только, что в поисках бога и истины мы оба скоро вышли из себя и наговорили много нелепого. Теперь — с беспристрастной высоты моих семидесяти трех лет — я

присуждаю пальму первенства его преподобию мистеру Геббитасу; моя диалектика была плоха, но его — еще хуже.

На щеках у него выступили красные пятна, голос стал крикливым. Мы все резче и резче прерывали один другого. Мы выдумывали факты и ссылались на авторитеты, имена которых я не умел как следует произнести, и видя, что мистер Геббитас избегает серьезной критики основ религии и упоминаний о немецких философах, я обрушил на него — не без успеха! — имена Карла Маркса и Энгельса, как толкователей библии. Глупейший спор! Отвратительный!

Наши голоса становились все громче, и в них все чаще прорывались нотки раздражения. Наверное, моя мать, стоя на лестнице, прислушивалась с возрастающим страхом, умоляя в душе: «Не оскорбляй ты его, дорогой. Не оскорбляй. Мистер Геббитас с ним в дружбе. Постарайся поверить тому, что говорит мистер Геббитас», — хотя мы все еще делали вид, что уважаем друг друга. Уж не помню как, но на первый план в нашем споре выступило нравственное превосходство христианства перед всеми иными верованиями. В истории мы оба разбирались плохо и потому храбро обобщали факты, пользуясь больше всего собственной фантазией.

Я объявил христианство моралью рабов, а себя — учеником немецкого писателя Ницше, бывшего тогда в моде.

Должен сознаться, что для ученика я был весьма скверно знаком с творениями моего учителя. В сущности, все, что я знал об этом писателе, было мною почерпнуто из двух столбцов «Призыва», напечатавшего о нем статью за неделю перед тем... Но преподобный мистер Геббитас «Призыва» не читал.

Я знаю, что вам трудно мне поверить, но уверяю вас, что мистер Геббитас, безусловно, не слышал даже имени Ницше, хотя этот писатель занял совершенно определенную и вполне ясную позицию в своих нападках на ту религию, хранителем которой был мой почтенный собеседник.

— Я ученик Ницше, — объявил я с таким видом, словно этим все сказано.

Мистер Геббитас так растерялся, услышав незнакомое имя, что мне пришлось его повторить.

— А знаете ли вы, что говорит Ницше? — злорадно наседал я на него.

— Во всяком случае, он получил должный ответ, — попытался вывернуться мой противник.

— От кого? — продолжал я наскакивать. — Скажите мне, от кого? — И я насмешливо ждал ответа.

Счастливым случаем вывел мистера Геббитаса из затруднительного положения, а меня приблизил к роковому падению.

Не успел я задать, свой вопрос, как послышался цокот лошадиных копыт и стук колес. Я увидел кучера в соломенной шляпе и великолепную карету, запряженную парой серых лошадей, — редкость для Клейтона.

Преподобный Геббитас подошел к окну.

— Как, да ведь это, кажется, старая миссис Веррол! Да, несомненно, это она и есть. Что ей от меня нужно?

Он повернулся ко мне, следы горячности исчезли с его лица, и оно сияло теперь, как солнце. Очевидно, не каждый день миссис Веррол удостоивала его визитом.

— Меня так часто прерывают, — сказал он, ослабившись. — Извините меня, я на минутку. А потом... потом я скажу вам насчет этого субъекта. Только не уходите, прошу вас, пожалуйста, не уходите. Уверю вас... очень интересно.

Он вышел из комнаты, махая руками, чтобы удержать меня.

— Я *должен* уйти! — крикнул я ему вдогонку.

— Нет, нет, нет, — послышалось из коридора. — Я еще не ответил на ваш вопрос, — добавил он и, кажется, даже пробормотал «Полнейшее заблуждение» и побежал по лестнице навстречу старой даме.

Я выругался, подошел к окну и неожиданно для себя оказался совсем рядом с проклятым столом.

Я взглянул на него, затем на старуху, обладающую такой властью, и передо мной мгновенно встал образ ее сына я Нетти. Стюарты, без сомнения, уже признали совершившийся факт... И я тоже...

Что я здесь делаю?

Зачем я здесь торчу и теряю драгоценное время?

Я вдруг точно очнулся и почувствовал прилив энергии. Чтобы удостовериться, я еще раз взглянул на услужливо изогнутую спину священника, на длинный нос старой дамы и ее дрожащие руки и затем быстрыми точными движениями отпер ящик, положил в карман четыре золотых, запер ящик и снова выглянул в окно — они все еще разговаривали.

Отлично. Он, возможно, еще не скоро заглянет в ящик. Я посмотрел на часы. До поезда в Бирмингем оставалось двадцать минут. Успею купить новые ботинки и уехать. Но как отсюда выбраться?

Я смело вышел в коридор и взял свою шляпу и палку... Пройти мимо него?

Конечно, не может же он вступить со мной в препирательства, будучи занят с такой важной особой... И я смело спустился с крыльца.

— Мне нужен список всех, действительно заслуживающих... — говорила старая миссис Веррол.

Странно, но мне тогда и в голову не пришло, что передо мной мать человека, которого я иду убивать. Я как-то, не смотрел на нее с этой точки зрения. Я думал о бессмысленности общественного строя, предоставляющего этой трясущейся старухе власть по собственному капризу давать и отнимать у сотен своих ближних насущные средства к жизни.

— Можно составить предварительный список, — говорил мистер Геббитас и взглянул на меня с озабоченным видом.

— Я должен идти, — ответил я на мелькнувший в его глазах вопрос и прибавил: — Я вернусь через двадцать минут.

И я ушел, а он тотчас же повернулся к своей покровительнице, как бы мгновенно забыв о моем существовании. Он, вероятно, втайне был доволен моим уходом.

Я был необычайно хладнокровен и чувствовал себя решительным и сильным, словно эта быстрая и ловкая кража воодушевила меня. Наконец-то я смогу осуществить свой план! Меня не пугали препятствия, я чувствовал, что преодолею их. Сейчас я пойду на Гэккер-стрит к сапожнику и куплю у него крепкую, хорошую пару ботинок — это займет десять минут, — до станции еще пять минут, и я в поезде! Я чувствовал себя сильным и безнравственным

сверхчеловеком Ницше. Мне только не пришло в голову, что часы священника могут быть неверны.

На поезд я опоздал.

Отчасти потому, что часы Геббитаса отставали, а отчасти благодаря торговому упрямству сапожника, желавшего во что бы то ни стало примерить мне еще одну пару, хотя я и сказал ему, что больше у меня нет времени. Купив наконец последнюю пару и дав ложный адрес для отсылки моей старой обуви, я поспешил на станцию и тогда только перестал чувствовать себя ницшеанским сверхчеловеком, когда увидел хвост уходящего поезда.

Я решил не ехать из Бирмингема прямо в Шэпхембери, а сперва отправиться в Монксхемптон, оттуда в Уэйверн и затем, уже с севера, въехать в Шэпхембери. Правда, возможно, придется переночевать где-нибудь по пути, но зато это избавит меня от всяких преследований, кроме разве самых настойчивых. Ведь это еще не убийство, а только кража четырех фунтов.

Дойдя до Клейтон-Крэста, я уже совершенно успокоился.

У Крэста я оглянулся назад. Что это был за мир! Внезапно мне пришло в голову, что все это я вижу в последний раз. Если я настигну беглецов и исполню задуманное, я умру вместе с ними или буду повешен. Я остановился и внимательнее всмотрелся в широкую безобразную долину.

Это была моя родная долина, и я думал, что уйду из нее навсегда; и, однако, при прощальном взгляде группа городов, которая породила меня, унизила, искалечила и сделала тем, чем я был, показалась мне какой-то странной, необычной. Вероятно, я просто привык видеть широкий ландшафт, открывающийся с этого места, задернутым смягчающим покровом ночи, а теперь видел его при будничном свете яркого послеполуденного солнца. Отчасти это было, наверное, причиной того, что долина показалась мне чужой. Но, быть может, то напряженное душевное волнение, которое я переживал уже более недели, сделало меня более прозорливым, дало мне возможность проникнуть глубже в то, что казалось обычным, усомниться в том, что казалось несомненным. В первый раз я тогда заметил этот хаос копей, домов, гончарен, железнодорожных станций,

каналов, школ, заводов, доменных печей, церквей, часовен, лачуг — вся эта беспорядочная громада уродливых дымящих случайностей, в которой люди жили так же счастливо, как лягушки в сорной яме. Здесь все теснилось, калечило друг друга и не обращало внимания ни на что вокруг. Дым заводских труб пачкал глину в гончарнях, грохот поездов на железных дорогах заглушал церковные песнопения, разврат кабаков подступал к дверям школ, а безрадостные жилища тупо жались друг к другу, теснимые со всех сторон чудовищно разросшимися фабриками. Человечество задыхалось среди творений рук своих, и все его силы уходили на то, чтобы умножать хаос, подобно тому, как бьется и все глубже увязает в трясине слепое раненое животное.

В тот день я не представлял себе это ясно. Еще менее понимал я, как все это связано с моими планами мщения и убийства. Я описал это ощущение удушливого хаоса так, как будто я об этом думал; на самом же деле я в то время лишь почувствовал это на минуту при взгляде на долину.

Никогда больше не увижу я этих мест.

Эта мысль вновь мелькнула у меня в голове. Но она меня вовсе не огорчила. У меня была возможность умереть на чистом воздухе, под ясным небом.

Из отдаленного Суотингли вдруг донесся неясный звук — вой далекой толпы, затем быстро последовавшие один за другим три выстрела.

На мгновение это меня смутило... Пускай, во всяком случае, я покидаю все это. Слава богу, я покидаю все это! Повернувшись, чтобы идти, я вспомнил о матери.

В скверном мире я ее оставляю. Моя мысль на минуту сосредоточилась на ней. Чрезвычайно живо представил я себе, как там, внизу, под этим послеполуденным солнцем суетится она, еще не зная, что потеряла меня, что-то делает, согнувшись, в подвальной кухне, может быть, пошла с лампой в судомойню, а может быть, терпеливо сидит, глядя в огонь, на котором кипятится чай для меня. Жалость и раскаяние охватили меня при мысли о горе, нависшем над ее ни в чем не повинной головой. Для чего же я это делаю?

Для чего?

Я снова остановился. Вершина холма уже отделяла меня от дома. Я почти готов был вернуться к матери.

И тут мне вспомнились деньги священника. Если он уже их хватился, то что меня ждет, когда я вернусь?

И если я вернусь, как мне положить их обратно?

И какая ночь предстоит мне после того, как я откажусь от мести? И что будет, когда вернется молодой Веррол? А Нетти?

Нет. Отступать уже поздно.

Но я мог бы все-таки поцеловать матушку на прощание, оставить ей записку, успокоить ее хоть на короткое время. Всю ночь она будет прислушиваться и ждать меня...

Не послать ли ей телеграмму со Второй Мили?

Нет, нельзя. Слишком поздно, слишком поздно. Это значило бы выдать себя, навести преследователей на прямой и ясный след, если они кинутся мне вдогонку. Нет, мать пусть не страдает.

Печально шел я к станции Вторая Мили, но теперь меня как будто вела какая-то иная воля, более сильная, чем моя.

В Бирмингем я приехал до захода солнца и как раз успел на последний поезд в Монксемптон, где я намеревался переночевать.

5. Погоня за двумя влюбленными

Поезд в Монксхемптон, на который я сел в Бирмингеме, привез меня не только в места, где я никогда не бывал, но от дневного света, от соприкосновения с обычными вещами он перенес меня в волшебную ночь, над которой царил гигантский метеор.

В это время как-то особенно заметна стала смена дня и ночи. С ними менялась даже оценка всех земных событий. Днем комета фигурировала лишь в газетных статьях, ее оттесняли на задний план тысячи более живых интересов, она была ничто по сравнению с надвигавшейся на нас военной грозой. Это было астрономическое явление, где-то там, над Китаем, за миллионы миль от нас в небесной глубине. Мы про него забывали. Но как только заходило солнце, все взоры обращались к востоку, и метеор снова простирали над нами свою загадочную власть.

Все ждали его восхода, и тем не менее каждую ночь он поражал чем-нибудь неожиданным. Каждый раз он вставал блистательнее, чем можно было себе представить, увеличивался и странно изменял свои очертания. На нем образовался менее яркий, но более густой зеленый диск, который ширился вместе с ростом кометы, — тень Земли. Метеор светился своим собственным светом, так что эта тень не была черной и резко очерченной, а лишь светилась фосфорически и менее ярко, по мере того как гасло солнце. Когда метеор поднимался к зениту, в то время как остатки дневного света уходили вслед за опускающимся солнцем, зелено-белое освещение стирало краски дня и придавало всему на земле призрачный характер. Беззвездное небо вокруг него стало таким необыкновенно синим — такой синевы я не видел ни раньше, ни потом. Помню также, что, когда я выпянул из поезда, громявшего по направлению к Монксхемптону, я с изумлением заметил медно-красный цвет, примешивавшийся ко всем теням.

Безобразные промышленные городишки Англии превращались в фантастические города. Местные власти повсюду распорядились не освещать улицы — на них и без того ночью вполне можно было читать, — и когда я шел по незнакомым бледным, почти белым

улицам Монксхемптона, круглоголовые тени электрических фонарей ложились мне под ноги. Освещенные окна светились красновато-оранжевым светом, точно отверстие какой-то фантастической завесы, протянутой пред раскаленной печью. Бесшумно ступавший полисмен указал мне сотканную из лунного света гостиницу, и человек с зеленым лицом отпер двери. Здесь я провел ночь. А наутро фантастическое жилище оказалось шумной и грязной маленькой харчевней, где отвратительно пахло пивом; хозяин был жирный и хмурый человек с красными пятнами на шее, а за дверью шумела людная улица, вымощенная булыжником.

Заплатив по счету, я вышел на улицу, где во все горло кричали продавцы газет, стараясь перекричать заливавшуюся громким лаем собаку. Они выкрикивали: «Поражение Великобритании в Северном море! Гибель военного корабля со всей командой!»

Я купил газету и пошел на станцию, читая по пути приведенные там подробности об этом торжестве старой цивилизации. Миной, пущенной с немецкой подводной лодки, был взорван громадный броненосец со всеми орудиями, взрывчатыми веществами, самыми дорогими и лучшими машинами того времени и с ним — девятьсот крепких, отборных людей. Я дочитался до военной горячки и не только забыл про комету, но забыл даже, зачем я пришел на станцию, зачем купил билет и еду в Шэпхембери.

Таким образом, жаркий день снова победил, и люди забыли про ночь.

Каждую ночь все блистательней и настойчивей сияла над нами красота, чудо, обещание из бездны, и мы притихали, очарованные. Но при первых же серых звуках дня, при стуке отпираемых болтов, при громоыхании тележки с молоком мы забывали чудо, и наш обычный пыльный день, зевая и потягиваясь, снова вступал в свои права. Угольный дым застилал от нас небо, и мы просыпались для грязной, беспорядочной рутины жизни.

— Жизнь всегда была такою, — говорили мы, — такою она и останется.

На великолепие этих ночей почти всюду смотрели только как на зрелище. Никакого значения ему не придавали. Что касается Западной Европы, то здесь лишь небольшая невежественная часть низших классов смотрела на комету как на предзнаменование конца света. В

тех странах, где еще сохранилось крестьянство, все было иначе, но в Англии крестьяне давно уже исчезли. Здесь все были грамотные. В спокойное время, накануне такого внезапного разрыва с Германией, газеты исключили в своих статьях о комете всякую возможность возникновения паники. Бродяги с большой дороги, ребятишки в детской — и те знали, что весь этот блеск весит не больше нескольких десятков тонн. Этот факт был убедительно доказан чудовищным отклонением кометы, низринувшим ее прямо на нашу землю. Она прошла в непосредственной близости от трех небольших астероидов, не вызвав ни малейшего отклонения их пути, тогда как сама она уклонилась почти на три градуса. Когда она столкнется с Землей, то тем, кто окажется на той стороне нашей планеты, которая соприкоснется с кометой, представится чудесное зрелище, но больше решительно ничего не произойдет. Было сомнительно, окажемся ли мы этими счастливыми. Метеор будет занимать все большую и большую часть неба, причем тень нашей Земли будет приглушать его сияние; и, наконец, он покроет все небо светящимся зеленым облаком с белыми краями на западе и востоке. Затем наступит затишье — его продолжительность никто не пытался предсказывать, — и вслед за тем мы увидим ослепительное сверкание падающих звезд. Они могут оказаться какого-нибудь необычайного цвета вследствие неизвестного элемента, о котором свидетельствует зеленый пояс кометы. Некоторое время на нас будет сыпаться дождь падающих звезд. Возможно, писали газеты, что некоторые из них достигнут поверхности Земли и будут исследованы.

Наука утверждала, что больше ничего не произойдет. Вихрь разгонит зеленые облака, и весьма вероятно, что разразятся грозы. Но сквозь потускневшие клочки кометы проглянет прежнее небо, прежние звезды, и все останется таким же, как и раньше. И так как событие это должно было произойти во вторник между часом ночи и одиннадцатью утра (я ночевал в Монксхемптоне в субботу), то на нашем полушарии оно будет видно только частично, а может быть, и вовсе не будет. Если явление произойдет позднее, то видны будут разве что падающие звезды. Так уверяла наука. И все же это не помешало последним ночам быть самыми великолепными и самыми памятными из всех, какие видело человечество.

Ночи стали очень теплыми. Я безрезультатно пробродил весь следующий день по Шэпхембери. А при восходе невиданно величественного ночного светила безмерно страдал от мысли, что его ореолом увенчана любовь Веррола и Нетти.

Взад и вперед, взад и вперед без усталости ходил я по берегу моря, всматриваясь в лица прогуливавшихся пар, сжимая в кармане револьвер, со странной болью в сердце, не имевшей ничего общего с яростью. Наконец все гуляющие разошлись по домам, и я остался наедине с кометой.

Утренний поезд, привезший меня из Уэйверна в Шэпхембери, опоздал на целый час; говорили, что причиной этому была переброска войск навстречу возможному вторжению со стороны Эльбы.

Шэпхембери показался мне тогда странным местом. Впрочем, тогда я многое начинал находить странным. Теперь я понимаю, что место было действительно очень странное. Но для меня, непривычного к путешествиям, все казалось чуждым, даже море. До этого я всего два раза в жизни побывал с экскурсиями на побережье Уэльса, где огромные каменистые скалы на фоне гор придают ландшафту совсем иной характер, чем на восточных берегах Англии. Здесь жители называют скалами холмики рассыпчатой беловато-коричневой земли футов в пятьдесят вышиной.

Тотчас же по приезде я начал систематическое обследование Шэпхембери. Живо помню придуманный мною план розысков и то, как моим расспросам мешало всеобщее стремление говорить только о возможности высадки немцев, прежде чем английский флот дойдет сюда из канала. Ночь с воскресенья на понедельник я провел в небольшом трактире в одном из переулков Шэпхембери. Так как поезда по воскресеньям ходили редко, то я попал в Шэпхембери лишь в два часа пополудни и до понедельника вечером не мог напасть на их след. Когда небольшой местный поезд, обогнув холм, стал приближаться к Шэпхембери, то замелькали огромные доски с рекламами, выставленные на участках, поросших высокой, колеблемой ветерком травой; они перерезали открывшуюся взору морскую даль. Большинство объявлений рекламировало всяческие яства или лекарства, которые следует после них принимать;

раскрашены они были в расчете не столько на красоту, сколько на то, чтобы запечатлеться в памяти, резко выделяясь среди мягких тонов пейзажа восточного берега. Большинство этих реклам, игравших весьма важную роль в жизни того времени — только благодаря этим рекламам и могли существовать наши огромные, на много страниц газеты, — восхваляло, как я уже заметил, пищу, напитки, табак и, наконец, лекарства, обещающие восстановить здоровье, подорванное употреблением вышеперечисленных предметов. Куда бы вы ни пошли, вам всюду напоминали ослепительными буквами, что в конце концов человек лишь немногим лучше червя, этого существа без глаз, без ушей, которое зарывается в землю, живет и не жалуется в своей питательной грязи, что человек, как и червь, — только «питательный канал с прилегающими к нему вспомогательными органами». Кроме того, там мелькали большие черно-белые доски с восхвалениями различных земельных участков под громким названием «поместий».

Индивидуалистическая предприимчивость старого времени привела к тому, что вся земля вокруг приморских городов, за исключением небольших пространств на южном и юго-восточном побережье, была распланирована на будущие улицы, а улицы — на участки и под постройки. Если бы эти планы осуществились, то все население нашего острова можно было бы поселить на морской берег. Но ничего этого, разумеется, не произошло, берега были обезображены лишь в целях спекуляции. Рекламы агентов стояли повсюду, свежие и полинявшие, а плохо проложенные дороги зарастали травой, хотя кое-где на углах уже виднелись дощечки с названиями улиц: «Трафалгар-авеню» или «Морской проспект». То там, то сям какой-нибудь мелкий рантье или лавочник, скопивший небольшую сумму и доверившийся местному агенту, выстроил себе домик, и он стоял, унылый, скверно построенный, на дешевом участке, в неудачном месте, с шатким забором и развевающимся на ветру бельем.

Потом наш поезд пересек шоссе, и по сторонам потянулись ряды жалких кирпичных домиков — жилища рабочих, а также грязные черные сараи, из-за которых «участки» являют такое неприятное зрелище, что указывало на приближение к центру округа, который, по словам местного путеводителя, представлял собой «восхитительнейший уголок Восточной Англии, этого края цветущих

маков». Потом снова жалкие дома, мрачная неуклюжесть электрической станции с высокой трубой, потому что полного сгорания угля тогда еще добиваться не умели, и наконец мы достигли железнодорожной станции в трех четвертях мили от центра этого «очага здоровья и развлечений».

Прежде чем начать расспросы, я тщательно осмотрел весь город. В начале дороги от станции к городу стояли ряды дрянных, по-видимому, влачивших нищенское существование, но очень претенциозных лавчонок, потом трактир и извозчичья биржа, затем после небольшого ряда маленьких красных вилл, наполовину скрытых в садиках, поросших кустарником, дорога переходила в главную улицу, слишком пеструю, но довольно красивую, погруженную в воскресный покой. Где-то вдали звонил церковный колокол, и дети в светлых новых платьях шли в воскресную школу. Через площадь, окруженную оштукатуренными домами, где сдавались комнаты — она была как две капли воды похожа на площадь в Клейтоне, только покрасивее и почище, — я дошел до вымощенной асфальтом и обсаженной живой изгородью набережной. Тут я сел на железную скамью, и мне бросился в глаза прежде всего широкий песчаный берег, кое-где покрытый грязью, с предназначенными для купания будочками на колесах, обклеенными рекламами каких-то пилюль, затем фасады домов, смотревшие прямо на эти пищеварительные советы. Вправо и влево от меня тянулись террасами пансионы, частные отели, дома меблированных комнат; за ними на одной стороне — строящийся дом в лесах, а на другой, за пустырем, над всеми зданиями возвышался громадный красный отель. К северу на низких бледных холмах виднелись белые зубцы палаток, в которых расположились лагерем местные добровольцы уже под ружьем. К югу тянулись песчаные дюны, кое-где поросшие кустарником и группами хилых сосен, и, конечно, там тоже торчали доски реклам. Над этим пейзажем простиралось чистое голубое небо, солнце отбрасывало черные тени, а на востоке белело море. Было воскресенье, публика обедала, на улицах было пусто...

«Странный мир!» — подумал я тогда. Вам теперь он должен казаться просто непостижимым. Затем я стал обдумывать свои дела.

Как начать поиски? Что именно спрашивать?

Я долго думал об этом — сперва не очень настойчиво, ибо я был утомлен, — затем мне пришли в голову удачные мысли.

Разрешил я свою задачу довольно остроумно. Я сочинил следующую историю: мне случилось отдыхать в Шэпхембери, и я воспользовался этой возможностью, чтобы разыскать владелицу дорогого боа из перьев, забытого в отеле моего дяди в Уэйверне молодой дамой, путешествующей с молодым джентльменом — вероятно, это чета новобрачных. В Шэпхембери они должны были приехать в четверг. Я несколько раз повторил себе эту историю и придумал своему дяде и его отелю подходящие названия. Во всяком случае, это должно полностью оправдать все мои расспросы.

Я давно решил все это, но продолжал сидеть: у меня не хватало сил приступить к делу. Затем я направился к большому отелю. Он казался таким роскошным, что, на мой взгляд, это было самое подходящее место для богатого молодого человека из хорошей семьи.

Высокие массивные двери растворил передо мной иронически-вежливый помощник швейцара в великолепной зеленой ливрее. Он выслушал меня, все время поглядывая на мое платье, и затем с немецким акцентом посоветовал мне обратиться к важному главному швейцару, который передал меня молодому человеку, восседавшему с царственным видом за конторкой, сверкавшей бронзой и полированным деревом, как в банкирской конторе, вернее, в десяти банкирских конторах, вместе взятых. Этот молодой человек, разговаривая, не сводил глаз с моего воротничка и галстука, а я и без того знал, что они ужасны.

— Мне нужно разыскать молодую даму и джентльмена, которые приехали в Шэпхембери в четверг, — сказал я.

— Ваши друзья? — спросил он с ужасающей иронией.

В конце концов выяснилось, что по крайней мере здесь они не останавливались. Быть может, позавтракали, но комнаты не снимали. Я вышел из отеля — дверь мне опять вежливо отворили — и, почувствовав себя оскорбленным и униженным в своем классовом достоинстве, решил в этот день больше никуда не обращаться с расспросами.

Моя решимость явно убывала, как отлив. Кругом было много гуляющей публики, и воскресное изящество их нарядов смущало меня. От смущения я даже забыл о своем намерении. Я чувствовал,

что мой карман, вздувшийся от револьвера, бросается в глаза, и мне было неловко. Берегом моря я вышел за город и бросился на землю среди камешков и морских маков. Такое подавленное настроение не проходило до самого вечера. С заходом солнца я пошел на вокзал и стал расспрашивать носильщиков. Но оказалось, что они гораздо лучше помнят багаж, чем публику, а я не имел никакого понятия о том, какой багаж могли иметь с собой молодой Веррол и Нетти.

Затем у меня завязался разговор с очень нахальным стариком с деревянной ногой и серебряным кольцом на пальце, который подметал ступеньки с бульвара к морю. Он многое знал о молодых парах, говоря о них только в общих выражениях, и он ничего не знал о той молодой паре, которую я искал. Он напомнил мне самым неприятным образом о чувственной стороне жизни, и я был очень рад, когда канонерка, появившаяся в открытом море, начала давать сигналы береговой страже и лагерю и оборвала его замечания о праздниках, пляжах и нравственности.

Я пошел дальше — отлив кончился, и я вновь был полон решимости, — сел на скамью на бульваре и стал наблюдать, как краснело поднимающееся облако холодного огня, погасив багряное зарево заката. Моя полуденная усталость проходила, кровь горячее текла в жилах. И когда сумрак и мягкое сияние кометы сменили пыльный солнечный день и отняли у этого чуждого мне места его своеобразную деловитость и бессмысленный практицизм, ко мне вернулся романтический пыл и страсть, и я снова начал думать о чести и отмщении. Я запомнил эту смену настроений, так как я очень ярко ее почувствовал, но думаю, что с меньшей отчетливостью то же самое много раз происходило и раньше. В старое время ночь и свет звезд обладали той задушевной несомненностью, которой лишен был день. День в городах и других населенных местах захватывал человека своей шумной суетой, рассеивал его, сталкивал с другими людьми, настойчиво требовал внимания. Темнота скрывала наиболее острые углы всего этого нагромождения людских нелепостей, и человек мог жить и мечтать.

В ту ночь у меня было странное ощущение близости Нетти и ее любовника, мне все казалось, что я могу внезапно столкнуться с ними. Я уже говорил, что долго бродил по бульварам, всматриваясь в каждую пару. Заснул я наконец в незнакомой спальне, увешанной

безвкусно разрисованными цитатами из библии, проклиная себя за напрасно потерянный день.

Напрасно искал я их и на следующее утро, но после полудня я напал сразу на несколько следов, правда, очень запутанных. Раньше не находилось ни одной пары, похожей на Веррола и Нетти, теперь я открыл их целых четыре.

Каждая из них могла быть тою, которую я искал, и ни одна не внушала полной уверенности. Все они приехали в среду или в четверг. Две пары еще продолжали занимать свои комнаты, но ни одной не было дома. Позднее я сократил свой список, вычеркнув молодого человека в коричнево-сером костюме, с бакенбардами и длинными манжетами, сопровождаемого дамой лет тридцати с хвостиком, ярко выраженной леди. Мне противно было на них смотреть. Другая пара отправилась на далекую прогулку, и хотя я караулил их пансион до тех пор, пока свет волшебного облака не смешался с последними лучами необычайно красивого заката, я их все-таки пропустил. Оказалось, что они сидели в столовой за отдельным столиком, в амбразуре полукруглого окна со свечами под красными абажурами. Оба они то и дело поглядывали на великолепие, которое нельзя было назвать ни днем, ни ночью. Девушка в своем розовом вечернем платье показалась мне воздушной и прелестной — достаточно прелестной, чтобы взбесить меня; ее белые руки и плечи были прекрасной формы, а овал лица, светлые волосы около ушей — все было полно очарования. Но это была не Нетти, а ее счастливый спутник принадлежал к выродившемуся типу, удивительно часто встречавшемуся среди нашей старой аристократии, — блондин без подбородка, с большим острым носом и маленькой головкой, с томным выражением лица и с такой длинной шеей, что для нее нужен был бы целый рукав вместо воротничка. Я стоял под окном в ярком зеленоватом свете кометы, ненавидя и проклиная их за то, что они так надолго задержали меня, но ушел только тогда, когда они заметили меня — черное воплощение зависти, резко выделявшееся в ослепительном свете кометы.

С Шэпхембери было покончено. Теперь вопрос был в том, за которой из двух остающихся пар мне нужно следовать.

Я возвратился на бульвар, обсуждая этот вопрос сам с собой и бормоча при этом себе под нос, ибо в чудесном сиянии ночи было что-то такое, от чего человек словно пьянел и становился легкомысленным.

Одна из двух последних пар уехала в Лондон, а другая в Бунгало, дачный поселок близ Боун-Клиффа. Где же находится этот Боун-Клифф?

На верхней ступени лестницы к морю я нашел знакомого старика с деревяшкой.

— Добрый вечер, — приветствовал я его.

Он указал своей трубкой на море; на пальце блеснуло серебряное кольцо.

— Чудно, — сказал он.

— Что такое?

— Проекторы. Дым. Суда идут к северу. Если бы проклятый Млечный Путь не позеленел, можно было бы все разглядеть.

Он был так занят этим, что вначале не обращал внимания на мои вопросы, но наконец удостоил бросить через плечо:

— Знаю ли я Бунгало? Как же, знаю. Художники и тому подобное. Веселое житье! Совместное купание — просто безобразие, да.

— Но где это? — спросил я, вдруг разозлившись.

— Смотрите, — сказал он. — Что там блеснуло? Черт меня побери, если это не пушечный выстрел!

Выстрел был бы слышен прежде, чем суда приблизятся настолько, что видна будет вспышка.

Он не ответил. Пришлось доказывать ему на деле, что, пока не добьюсь своего, я его не оставлю в покое. Я наконец схватил его за плечо и встряхнул, и только тогда он оторвался от фантастической пляски огней на горизонте, выругался и обернулся ко мне.

— Семь миль по этой дороге, — сказал он. — А теперь убирайтесь ко всем чертям.

Я тоже выругался в знак благодарности и пошел в указанном направлении.

У конца бульвара полисмен, смотревший на небо, подтвердил мне указание старика с деревянной ногой.

— Дорога очень пустынна! — крикнул он мне вдогонку...

У меня была странная уверенность, что на этот раз я напал наконец на верный след. Темные массы Шэпхембери остались позади, и я шел в бледном сумраке со спокойствием путешественника, приближающегося к концу пути.

Я не могу припомнить это путешествие последовательно, помню только, что меня одолевала усталость. Море было гладкое и блестело, как зеркало, по его серебристой поверхности пробегала широкая зыбь, которая потом от легкого бриза рассыпалась рябью. Дорога была то песчаная — нога утопала в серебристо-бесцветном песке, — то усыпанная сверкающим известняком. Сонные песчаные холмы поросли черным кустарником, то густыми группами, то отдельными кустами. Некоторое время я шел по лугу, и на траве неясно виднелись большие овцы, похожие на привидения; потом — по черному сосновому лесу, бросавшему густую тень на дорогу и выславшему на опушку искривленные, малорослые деревья. Вскоре стали попадаться сиротливые чародейки сосны, сурово простиравшие ко мне ветви, когда я проходил мимо. И среди леса, среди теней, молчания и света — вдруг нелепая в своей неуместности реклама строительной компании: «Строим дома на любой вкус».

Помню, что где-то в стороне упорно лаяла собака; помню, что несколько раз я вынимал из кармана и внимательно осматривал свой револьвер. Вероятно, я был полон мыслями о своем намерении, думал о Нетти и мщении, но сейчас я совершенно не помню этих чувств. Вижу только очень ясно зеленый отблеск, пробегавший по металлу револьвера, когда я вертел его в руках.

А надо мной высилось небо, чудесное, сияющее, беззвездное и безлунное, синяя пустая глубина горизонта между морем и кометой. Как-то раз далеко у сверкающего горизонта появились, словно призраки, три длинных черных военных судна без мачт, без парусов, без дыма, без огней, таинственные, темные и смертоносные. Они шли очень быстро, строго держа дистанцию. Когда я снова взглянул на них, они уже казались совсем крошечными и скоро пропали в светлом сумраке.

Один раз как будто сверкнула молния, и я принял это сперва за пушечный выстрел, но потом взглянул на небо и увидел бледный след зеленого огня. Воздух словно задрожал и затрепетал вокруг меня, кровь быстрее побежала по жилам, я словно ожил...

Где-то на моем пути дорога раздвоилась, но не помню, было ли это близ Шэпхембери или в самом конце моего странствия; помню только, что я стоял в нерешительности между двумя почти одинаковыми колеями.

Под конец я очень устал. Груда сваленных, увядших морских водорослей преградила мне путь; следы колес виднелись в разных направлениях; я сбился с дороги и бродил, спотыкаясь между песчаными грядами, почти у самого моря; я сошел на край смутно блестящей песчаной отмели; какой-то фосфорический блеск привлек меня к воде. Я наклонился и стал разглядывать искорки света, мелькающие на водной ряби.

Потом я со вздохом выпрямился и стоял, всматриваясь в пустынную тишину этой дивной последней ночи. Метеор провел свою блестящую сеть уже по всему небу и уходил теперь к западу; увеличилось синее пространство на востоке, дальний край моря потемнел. Одна звезда, убежав от великого сияния, выглянула в небо, мерцая и трепеща от своей смелости, и остановилась на границе невидимого.

Как хорошо! Как тихо и хорошо! Мир. Тишина. Непостижимое спокойствие, облаченное в гаснущее сияние...

Душа моя переполнилась, и я вдруг заплакал.

Что-то новое, неведомое текло в моей крови. Я почувствовал, что совсем не хочу убивать.

Я не хотел убивать. Я не хотел больше быть рабом своих страстей. Лучше уйти из жизни, уйти от дневного света, который горячит, будоражит и вызывает желания, уйти в холодную вечную ночь и отдохнуть. Игра окончена. Я проиграл.

Я стоял у края великого океана, мне страстно хотелось молиться, и я жаждал покоя.

Скоро на востоке вновь поднимется красная завеса и изменит все кругом, и снова на месте таинственной неопределенности воцарится серый, жестокий мир четкой несомненности. Сейчас отдых, передышка, но завтра я снова буду Вильямом Ледфордом,

полуголодным, плохо одетым, неуклюжим, бесчестным человеком, язвой на лице жизни, источником тревог и горя даже для родной любимой матери. В жизни для меня не осталось никакой надежды, лишь месть перед смертью.

Так зачем она мне, эта жалкая месть? У меня вдруг промелькнула мысль, что можно сейчас же покончить со всем, а тех, других, оставить в покое.

Войти в это манящее море, в этот теплый плеск волн, где соединились вода и свет, остановиться, когда вода дойдет до груди, и вложить в рот дуло револьвера...

А почему бы и нет?

С усилием оторвался я от края воды и в раздумье стал подниматься по берегу...

Потом обернулся и посмотрел на море. Нет. Что-то во мне говорило «нет».

Надо еще подумать.

Идти было трудно: мешал глубокий песок и частый кустарник. Я сел среди черных кустов, опершись подбородком на руку. Револьвер я вынул из кармана, посмотрел на него и оставил в руке. Жизнь? Или смерть?

Мне казалось, что я вопрошаю самую глубину жизни, на самом же деле я незаметно задремал.

Двое купающихся в море.

Я проснулся. Все та же дивная белая ночь, и синяя полоса ясного неба не стала шире. Эти люди подошли, должно быть, в тот момент, когда я засыпал, и разбудили меня. Они были по грудь в воде и теперь выходили из нее, возвращаясь на берег. Впереди женщина, с волосами, обвитыми вокруг головы, и следом за ней мужчина; два стройных силуэта, посеребренные сиянием света в струях блестящей зеленой воды и мелких волн. Он плеснул в нее водой, она ответила тем же, вода уже доходила им только до колен, и через мгновение их ноги блеснули на серебристом песке.

На обоих были плотно прилегающие к телу купальные костюмы, не скрывавшие красоты молодых тел.

Она взглянула через плечо, увидела его ближе, чем ожидала, и с легким криком, пронзившим мне сердце, бросилась бежать прямо на меня; как ветер, пронеслась она мимо, мелькнула в черных кустах, он за нею, и оба скрылись за песчаным холмом.

Я слышал, как они кричали и смеялись, задыхаясь от бега...

Вдруг меня охватило бешенство. Я вскочил с поднятыми кулаками, окаменел на мгновение, бессильно грозя далекому небу.

Эта быстроногая купальщица, вся сотканная из света и красоты, была Нетти, и с нею он, ради которого она изменила мне.

Как молния, промелькнула мысль, что я мог здесь умереть, упав духом и не отомстив!

Через мгновение я уже гнался за беспечной, ничего не подозревавшей парой, неслышными шарами, по мягкому песку, с револьвером в руке.

Добежав до вершины песчаного холма, я увидел среди дюн дачный поселок, который искал. Где-то хлопнула дверь, беглецы исчезли. Я остановился, всматриваясь.

Невдалеке виднелась группа из трех домиков, они вбежали в один из них, но я не успел разглядеть, в который. Все двери и окна были растворены, и нигде не было видно огня.

Местечко, на которое я наконец наткнулся, возникло из протеста людей с артистическими наклонностями, ведущих бездумную жизнь и ненавидящих тесные рамки дорогих и чопорных приморских курортов той поры. В то время железнодорожные компании обыкновенно продавали вагоны, отслужившие известное число лет, и какой-то изобретательный человек придумал превратить эти вагоны в жилые домики для летнего отдыха. Это вошло в моду у того класса людей, в котором господствует дух богемы; они соединяли два-три вагона, и эти импровизированные жилища, выкрашенные в веселые цвета, с широкими верандами и навесами представляли самый приятный контраст с чопорностью курортов. Без сомнения, в этой бивачной жизни было много неудобств, поэтому такие поселки обыкновенно наполняла жизнерадостная молодежь, переносившая всякие неудобства весело и беспечно. Легкий муслин, банджо, китайские фонарики, спиртовки для стряпни — вот, кажется,

отличительные признаки таких поселков. Но для меня это странное убежище искателей удовольствий оставалось загадочным и непонятным, и неясные намеки старика с деревянной ногой не уменьшали, а еще усиливали мое недоумение. Это было всего лишь сборище легкомысленных и праздных людей, но я видел его в самом мрачном свете, как все бедняки, отравленные вечной необходимостью убивать в себе всякую жажду радости. Беднякам, рабочим в замасленной одежде недоступны были чистота и красота, и они, обреченные на жизнь в грязи и мраке, мучимые неосуществимыми желаниями, со жгучей завистью и темными, мучительными подозрениями глядели на жизнь своих ближних, которым повезло больше. Представьте себе мир, где простые люди считали любовь скотством.

В старом мире в основе половой любви всегда таилось что-то жестокое. Таково по крайней мере мое впечатление, которое я пронес через бездну Великой Перемены. Успех в любви считался ни с чем не сравнимым триумфом, неудача — позором...

Мне не казалось странным, что это дикое представление пронизывало насквозь все мои чувства и в тот момент сплело все эти чувства в один клубок. Я верил — и был прав, мне кажется, — что любовь всех истинно любящих была тогда своего рода вызовом, что, соединяясь в объятиях друг друга, они бросали вызов всему окружающему миру. Люди любили наперекор всему миру, а эти двое любили назло мне. Моя неистовая ревность подстерегала их любовные утехы. Отточенный меч, самый острый на всем свете, таился в их розовом саду.

Верно ли это или нет, но так мне тогда казалось. Я никогда не играл с любовью, я не был легкомысленным влюбленным. Я желал пламенно, я любил страстно. Быть может, поэтому-то я и писал такие неуместные и запутанные любовные письма: шутить такой темой я не мог...

Мысль о сияющей красоте Нетти, о том, как дерзко отдалась она, как легко досталась победителю, доводила меня до бешенства, почти превосходящего мои физические силы, слишком яростного для моего сердца и нервов. Я медленно спустился с песчаного холма к этому странному поселку чувственных радостей. Теперь в моем жалком теле

жил могучий дух ненависти. Как карающий меч, я был отточен для страданий, смерти и жгучей ненависти.

Я остановился в раздумье.

Начать обходить один домик за другим, пока на мой стук не ответит один из тех двух? А если ответит служанка?

Или ждать и караулить, может быть, до утра? А тем временем...

Во всех ближайших домиках теперь все стихло. Если я подойду потихоньку, то через отворенные окна, может быть, увижу или услышу что-нибудь такое, что наведет на след. Обойти вокруг крадучись или пройти прямо к двери? Сейчас настолько светло, что она узнает меня даже издалека.

Я опасался, что, впутав в свое дело расспросами третьих лиц, я рискую встретиться с изменниками в присутствии этих третьих лиц, и они могут отнять у меня револьвер, схватив за руки. И, кроме того, каким именем они тут назвались?

«Бум!» — Звук медленно дошел до моего сознания и тотчас же повторился.

Я с нетерпением обернулся, как человек, задетый дерзким прохожим, и увидел милях в четырех от берега на серебряной ряби волн большой броненосец, выбрасывавший из трубы красные искры. Когда я обернулся, снова сверкнул огонь орудий, стрелявших в сторону открытого моря, и в ответ над горизонтом тоже замелькали огни и за клубился дымок. Так осталось это в моей памяти; ясно вижу самого себя — я не сводил глаз с моря в состоянии какого-то плутого изумления. Как все это некстати! И что мне за дело до всего этого?

С прерывистым свистом взвилась ракета с мыса за поселком и врезалась жарким золотом в небесное сияние: слышались звуки третьего и четвертого выстрелов.

Окна темных домиков вспыхивали одно за другим квадратами алого света, вначале мигающего, а потом становившегося ровным. Показались темные головы, обращенные к морю, отворилась дверь и выбросила наружу полосу желтого света, сразу же утонувшего в блеске кометы. Это напомнило мне о том, что я должен сделать.

«Бум, бум!»

Когда я опять взглянул на большой броненосец, за его трубой дрожало маленькое пламя, похожее на факел. Слышно было, как работают его машины.

В поселке переключались голоса. Из ближайшего домика вышел мужчина в белом купальном халате, до смешного напомилавший араба в бурнусе, и остановился, озаренный сиянием, не отбрасывая тени.

Он приставил руку козырьком над глазами, посмотрел на море и крикнул тем, кто был в домике.

Эти люди внутри — это они! Мои пальцы крепче сжали револьвер. Что мне за дело до этой военной бессмыслицы? Я обойду кругом между песчаными дюнами и незаметно подойду к домикам с другой стороны. Морской бой может помочь мне, но в остальном он меня нисколько не интересует. «Бум! Бум!» Гулкие, потрясающие звуки докатились до меня, ударили по сердцу и смолкли. Сейчас Нетти выйдет посмотреть.

Одна, потом еще две закутанные фигуры вышли из домиков и присоединились к мужчине в белом халате. Тот показал рукой на море и звучным тенором стал давать объяснения. Я мог расслышать некоторые слова.

— Это — немецкое судно, — говорил он. — Теперь ему конец.

Кто-то стал возражать, слышались спорящие голоса, но слов я не разобрал. Я медленно пошел в обход, наблюдая за этой группой.

Они вдруг закричали все вместе, да так громко, что я остановился и посмотрел на море. На том месте, куда только что попал заряд, предназначенный для броненосца, взвился высокий фонтан. Второй фонтан взметнулся еще ближе к нам, за ним третий, четвертый, и тут на мысу, откуда взлетела ракета, появилось и медленно рассеялось вихревое облако пыли. Тотчас же вслед за этим раздался оглушительный взрыв, и обладатель тенора подпрыгнул и крикнул:

— Попали!

Да, так что я хотел?.. Разумеется, я должен пройти за домиками и приблизиться сзади.

Высокий женский голос кричал:

— Молодожены, молодожены, выходите же посмотреть!

Что-то слабо блеснуло в тени ближайшего ко мне домика, мужской голос ответил что-то неразборчивое, зато потом я ясно

услышал голос Нетти:

— Мы только что купались.

Человек, который вышел первым, закричал:

— Разве вы не слышите пальбу? Идет бой, и совсем близко — милях в пяти от берега.

— Что? — отозвались из домика, и окно отворилось.

— Вон там.

Я не расслышал ответа из-за шороха моих собственных движений. Ясно, что эти люди поглощены морским сражением и не посмотрят в мою сторону, поэтому я пошел прямо в темноту, туда, где была Нетти и куда влекли меня темные желания моего сердца.

— Смотрите! — закричал кто-то, указывая на небо.

Я взглянул вверх и... что это?.. Все небо было исчерчено яркими зелеными струями; они исходили из одного центра — где-то между западным горизонтом и зенитом. В сияющих облаках вокруг метеора началось странное движение — словно струи текли на запад и обратно на восток с таким треском, как будто по всему небу шла стрельба из призрачных пистолетов. Мне показалось, что сам метеор идет мне на помощь, что со своими бесчисленными пистолетами он спускается, как завеса, чтобы скрыть бессмыслицу, происходящую на море.

«Бум!» — прогремело орудие большого броненосца.

«Бум!» — отвечали преследовавшие его крейсера.

Вид этих струящихся и пенящихся полос света на небе вызывал головокружение. С минуту я стоял, ослепленный и опьяненный. На минуту мысль моя оторвалась от будничной прозы. А что, если фанатики правы и наступает конец света? Какое торжество для Парлода!

Но тут мне пришло в голову, что все это происходит лишь для того, чтобы способствовать моей мести. Бой на море, небо над головой — все гремит и сверкает, как грозная оболочка моего деяния. Нетти вскрикнула шагах в пятидесяти от меня и снова разбудила во мне ярость. Я вернусь к ней среди этого ужаса, неся неожиданную смерть. Я настигну ее своей пулей среди леденящего страха и громовых раскатов. При этой мысли я вскрикнул — никто этого не слышал — и пошел прямо на нее, открыто держа в руке револьвер.

Пятьдесят шагов, сорок, тридцать... Маленькая группа людей, все еще не замечающих моего приближения, росла в моих глазах и становилась все значительнее, а небо, стреляющее зеленым огнем, и сражение на море отступали все дальше и дальше. Кто-то выскочил из ближайшего домика с каким-то недоговоренным вопросом и остановился, увидя меня. Это была Нетти в какой-то кокетливой темной накидке, и зеленое сияние освещало ее прелестное лицо и белую шею. Я ясно видел выражение ужаса и отчаяния на ее лице при моем приближении; она стояла, точно что-то схватило ее за сердце и держало на месте как цель для моих выстрелов.

«Бум!» — раздался выстрел орудий броненосца, точно команда.

«Бэнг!» — вылетела пуля, посланная моей рукой. А ведь я не хотел убивать ее. Клянусь, в эту минуту я не хотел убивать ее.

«Бэнг!» — Я опять выстрелил, продолжая идти, и оба раза, по-видимому, не попал.

Она сделала шаг мне навстречу, продолжая пристально смотреть на меня, но тут кто-то подбежал, и рядом с нею я увидел Веррола.

Потом неизвестно откуда появился тяжеловесный, жирный иностранец в купальном халате, с капюшоном и отгородил их от меня. Он показался мне какой-то нелепой помехой. Лицо его выражало удивление и ужас. Он кинулся мне наперерез с протянутыми руками, словно пытался удержать бегущую лошадь. Он выкрикивал какую-то чепуху — хотел, кажется, уговорить меня, как будто уговоры могли что-нибудь изменить.

— Не вас, болван вы этакий! — крикнул я хрипло. — Не вас!

Но он все-таки заслонял Нетти.

Колоссальным усилием воли я удержался от порыва прострелить его жирное тело. Я помнил, что убивать его не должен. На мгновение я застыл в нерешительности, затем быстро бросился влево и обежал его протянутую руку, но увидел перед собой двух других, нерешительно преграждавших мне дорогу. Я выпустил третью пулю в воздух, прямо над их головами, и побежал на них; они разбежались в разные стороны; я остановился и увидел в двух шагах от себя бежавшего сбоку молодого человека с лисьей физиономией, видимо, намеревавшегося схватить меня. Видя, что я остановился с весьма решительным видом, он сделал шаг назад, втянул голову в плечи и

поднял руку для самообороны. Путь был свободен, и впереди я увидел бегущих Веррола и Нетти; он держал ее за руку, чтобы помочь ей.

«Как бы не так!» — сказал я.

Я неудачно выстрелил в четвертый раз и тут в бешенстве от промаха бросился за ними, чтобы догнать и застрелить их в упор.

— Этих еще не хватало! — крикнул я, отмахиваясь от непрошенных защитников...

— Один ярд, — задыхаясь от быстрого бега, говорил я вслух. — Один ярд, и только тогда стрелять, не раньше.

Кто-то гнался за мной, может быть, несколько человек — не знаю, мы вмиг оставили их позади.

Мы бежали. Некоторое время я был весь поглощен однообразном бега и погони. Песок превратился в вихрь зеленого лунного света, воздух — в рокотание грома. Вокруг нас струился блестящий зеленый туман... Но не все ли нам равно? Мы бежали. Догоняю я или отстаю? Весь вопрос в этом. Они проскочили сквозь дыру вдруг вынырнувшей перед нами разрушенной ограды, на миг мелькнули передо мной и повернули вправо. Я заметил, что мы бежали теперь по дороге. Но этот зеленый туман! Казалось, мы прорывались сквозь его толщу. Они исчезали в нем, но я сделал бросок и приблизился к ним на дюжину футов, если не более.

Она пошатнулась. Он крепче вцепился в ее руку и потащил вперед. Потом они бросились влево. Теперь мы бежали уже по траве. Под ногами было мягко. Я споткнулся и упал в канаву, почему-то полную дыма, выскочил из нее, но они уже ушли в вихрящийся туман и смутно виднелись вдали, как привидения...

Я все бежал.

Вперед! Вперед! Я стонал от напряжения. Опять споткнулся и выругался про себя. Где-то сзади во мраке рвались пушечные снаряды.

Они скрылись! Все скрывалось, но я бежал. Потом еще раз споткнулся. Ноги мои путались в чем-то, что-то мешало мне двигаться; высокая трава или вереск, я не мог разглядеть, — всюду только дым, клубившийся у моих колен. Что-то кружилось и звенело в моем мозгу — тщетная попытка удержать темную зеленую завесу, которая все падала, складка за складкой, все падала и падала. Вокруг сгущалась тьма.

Я сделал последнее, отчаянное усилие, поднял револьвер, выпустил наудачу свой предпоследний заряд и упал, уткнувшись головой в землю. И вдруг зеленая завеса стала черной, а земля, и я, и все вокруг перестало существовать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«ЗЕЛЕНый ГАЗ»

1. Перемена

Казалось, будто я пробудился после освежающего сна. Я очнулся не сразу, а только раскрыл глаза и спокойно продолжал лежать, рассматривая целую полосу необыкновенно ярких красных маков, пламеневших на фоне пылающего неба. Вставала ослепительная утренняя заря, и целый архипелаг окаймленных золотом пурпурных островов плыл по золотисто-зеленому морю. Сами маки, с их бутонами на стеблях, напоминавших лебединые шеи, с их расписными венчиками и прозрачными поднятыми вверх мясистыми околоплодниками, как бы сияли и казались тоже сотканными из света, только более плотного.

Я спокойно, без удивления любовался несколько минут этой картиной, потом заметил мелькавшие среди маков щетинистые золотисто-зеленые колосья зреющего ячменя.

Смутный вопрос о том, где я нахожусь, появился в моем сознании и тут же исчез. Вокруг было тихо.

Вокруг было тихо, как в могиле.

Я чувствовал себя очень легко и наслаждался полным физическим блаженством. Я заметил, что лежу на боку, на помятой траве, среди поля, засеянного выколосившимся ячменем, но заросшего сорняками, и что все это каким-то необъяснимым образом насыщено светом и красотой. Я приподнялся, сел и долго любовался нежным маленьким вьюнком, обвившимся вокруг стеблей ячменя, и курослепом, стлавшимся по земле.

Снова выплыл вопрос: что это за место и как я здесь уснул?

Но я не мог ничего припомнить.

Меня смущало, что мое тело было как бы не моим. Каким-то непонятным образом все казалось мне чуждым: и мое тело, и ячмень, и прекрасные маки, и медленно, все шире разливающийся блеск зари там, позади меня, — все это было мне незнакомо. Я чувствовал себя так, как будто я был частицею ярко раскрашенного окна и заря пробивалась сквозь меня. Я чувствовал себя частью прелестной картины, полной света и радости.

Легкий ветерок прошелестел, наклоняя колосья ячменя и навевая новые вопросы.

Кто я? С этого следовало начать.

Я вытянул левую руку, грубую руку, с обшмыганным рукавом, но я воспринимал ее словно не настоящую, а написанную Боттичелли руку какого-нибудь нищего. Я несколько минут внимательно смотрел на красивую перламутровую запонку манжеты.

Мне припомнился Вилли Ледфорд, которому принадлежала эта рука, как будто этот Вилли был вовсе не я.

Кончено! Мое прошлое — в общих туманных чертах — стало воскресать в памяти яркими неуловимыми обрывками, словно предметы, рассматриваемые в микроскоп. Мне вспомнились Клейтон и Суотингли: узкие темные улицы, как на гравюрах Дюрера, миниатюрные и привлекательные своими мрачными, красками, — по ним я шел к своей судьбе. Я сидел, сложив руки на коленях, и припоминал мое странное бешенство, завершившееся бессильным выстрелом в сгущавшийся мрак конца. Воспоминание об этом выстреле заставило меня содрогнуться.

Это было так нелепо, что я невольно улыбнулся со снисходительным сожалением.

Бедное, ничтожное, злое и несчастное существо! Бедный, ничтожный, злой и несчастный мир!

Я вздохнул от жалости не только к себе, но и ко всем пылким сердцам, истерзавшимся умам, к людям, полным надежд и боли, обретшим наконец покой под удушливой мглой кометы. С тем старым миром покончено, он не существует более. Они все были так слабы и несчастны, а я теперь чувствовал себя таким сильным и бодрым. Я был вполне уверен, что умер; ни одно живое существо не могло бы обладать такой совершенной уверенностью в добре, таким всеобъемлющим чувством душевного покоя.

Кончена для меня та лихорадка, которая называется жизнью. Я умер, и это хорошо, но... поле?

Я почувствовал какое-то противоречие.

Значит, это райская нива, засеянная ячменем? Мирная и тихая райская нива ячменя с неувядающими маками, семена которых даруют мир.

Конечно, странно было обнаружить ячменные поля в раю, но это, вероятно, еще не самое удивительное, что мне предстоит увидеть.

Какая тишина! Какой покой! Непостижимый покой! Он настал для меня наконец. Как все тихо; ни одна птица не поет. Должно быть, я один в целом мире. Не слышно птиц, замолкли и все другие звуки жизни: мычание стад, лай собак...

Что-то похожее на страх закралось мне в душу. Все вокруг прекрасно, но я одинок! Я встал и ощутил горячий привет восходящего солнца, казалось, стремившегося навстречу мне с радостными объятиями поверх колосьев ячменя...

Ослепленный его лучами, я сделал шаг. Нога моя ударилась о что-то твердое, я нагнулся и увидел мой револьвер, синевато-черный, как мертвая змея.

На мгновение это меня озадачило.

Но я тотчас совершенно забыл о нем. Меня захватила эта сверхъестественная тишина. Восходит солнце, и ни одна птица не поет.

Как прекрасен был мир! Прекрасен, но безмолвен! По ячменному полю направился я к старым кустам крушины и терновника, окаймлявшим поле. Проходя, я заметил среди стеблей мертвую, как мне показалось, землеройку, а затем неподвижно лежавшую жабу. Удивляясь тому, что жаба при моем приближении не отпрыгнула в сторону, я остановился и взял ее в руки. Тело ее было мягкое, живое, но она не сопротивлялась; глаза заволокла пелена, и она не двигалась в моей руке.

Долго стоял я, держа это маленькое безжизненное существо в своей руке. Затем очень осторожно наклонился и положил ее на землю. Я весь дрожал от какого-то ощущения, не поддающегося описанию. Теперь я стал внимательно разглядывать землю между стеблями ячменя и всюду замечал жучков, мух и других маленьких существ, но все они не двигались, а лежали в том положении, в каком упали, когда их обдало газом; они казались не живыми, а нарисованными. Некоторые из них мне были совсем неизвестны. Вообще я очень плохо знал природу.

— Господи! — воскликнул я. — Неужели же только я один?

Я шагнул дальше, и что-то резко пискнуло. Я поглядел по сторонам, но ничего не увидел, а только заметил легкое движение между стеблями и услышал удаляющийся шорох крыльев какого-то невидимого существа. При этом я снова взглянул на жабу — она уже смотрела и двигалась. И вскоре нетвердыми и неуверенными движениями она расправила лапки и поползла прочь от меня.

Меня охватило удивление, эта кроткая сестра испуга. Впереди я увидел коричнево-красную бабочку, сидевшую на васильке. Вначале я подумал, что ее шевелит ветер, но затем заметил, — крылышки ее трепещут. Пока я смотрел на нее, она ожила, расправила крылья и вспорхнула с цветка.

Я следил за ее извилистым полетом, пока она не исчезла. И так жизнь возвращалась ко всем существам вокруг меня, возвращалась медленно, напряженно — все начинало пробуждаться, расправлять крылья и члены, щебетать и шевелиться.

Я шел медленно и осторожно, боясь наступить на какое-либо из этих оглушенных, с трудом пробуждающихся к жизни существ. Изгородь поля зачаровала меня. Она текла и переплеталась, как великолепная музыка: тут было много волчьих бобов, жимолости, пузырника и мохнатого горошка; подмаренник, хмель и дикий ломонос обвивали ее я свешивались с ветвей; вдоль канавы ромашки высовывали свои детские личики то рядами, то целыми букетами. В жизни я не видел такой симфонии цветов, ветвей и листьев. И вдруг в глубине изгороди я услышал щебетание и шорох крыльев пробудившихся птиц.

Ничто не умерло, но все изменилось, все стало прекрасным. Я долго стоял и ясными, счастливыми глазами смотрел на сложную красоту, расстилавшуюся передо мной, удивляясь, как богат земной мир...

Жаворонок нарушил тишину переливчатой трелью; один, потом другой; невидимые в воздухе, они ткали из этой синей тишины золотой покров.

Земля точно создавалась вновь — только повторяя такие слова, могу я надеяться дать хоть какое-нибудь понятие о необычайной свежести этого зарождающегося дня. Я был так захвачен изумительными проявлениями жизни, так отрешился от своего прошлого, полного зависти, ревности, страстей, жгучей тоски и

нетерпения, точно я был первым человеком в этом новом мире. Я мог бы необычайно подробно рассказать, как у меня на глазах раскрывались цветы, рассказать об усиках вьющихся растений и былинках трав, о лазоревке, которую я бережно поднял с земли, — прежде я никогда не замечал нежности ее оперения, — о том, как она раскрыла свои большие черные глаза, посмотрела на меня, бесстрашно усевшись на моем пальце, не торопясь, распустила крылья и улетела; я мог бы рассказать о массе головастиков, кишевших в канаве; они, как и все существа, живущие под водой, не изменились под влиянием перемены. Так я провел первые незабвенные минуты после пробуждения, совершенно забыв в восторженном созерцании каждой мелочи все великое чудо, происшедшее с нами.

Между живой изгородью и ячменным полем вилась тропинка, и я, довольный и счастливый, неторопливо пошел по ней, любясь окружающим, делая шаг, останавливаясь и делая еще шаг, пока не добрался до деревянного забора; отсюда вела вниз лесенка, а там, внизу, шла густо заросшая по краям дорога.

На старых дубовых досках забора красовался размалеванный круг с надписью: «Свинделс. Пилюли».

Я уселся на ступеньку, пытаюсь понять значение этой надписи. Но она приводила меня в еще большее недоумение, чем револьвер и мои грязные рукава.

Вокруг меня пели птицы, и хор их все увеличивался.

Я читал и перечитывал надпись и наконец связал ее с тем, что на мне все еще моя прежняя одежда и что там, у моих ног, валялся револьвер. И вдруг истина предстала предо мной во всей ее наготе. Это не новая планета, не новая, блаженная жизнь, как я предположил. Эта прекрасная страна чудес — все та же Земля, все тот же старый мир моей ярости и смерти. Но все это походило на встречу со знакомой замарашкой, умытой, разодетой, превратившейся в красавицу, достойную любви и поклонения...

Возможно, что это тот же старый мир, но во всем какая-то перемена, все дышит счастьем и здоровьем. Возможно, что это тот же старый мир, но с затхлостью и жестокостью прежней жизни навсегда покончено — в этом я, во всяком случае, не сомневался.

Мне припомнились последние события моей прежней жизни: яростная, напряженная погоня — и затем мрак, вихрь зеленых

испарений и конец всего. Комета столкнулась с Землей и все уничтожила — в этом я был вполне уверен.

Но потом?..

А теперь?

И мне вдруг живо представилось все, во что я верил в детстве. Тогда я был твердо убежден, что неминуемо наступит конец света — раздастся трубный глас, страх и ужас охватят людей, и с небес сойдет судия, и будет воскресение и Страшный суд. И теперь мое воспаленное воображение подсказывало мне, что день этот, должно быть, уже наступил и прошел. Он прошел и каким-то непонятным образом обошел меня.

Я только один остался в живых в этом мире, где все сметено и обновлено (за исключением, конечно, этой рекламы Свинделса), может быть, для того, чтобы начать снова...

Свинделсы, без сомнения, получили по заслугам...

Некоторое время я думал о Свинделсе и о бессмысленной назойливости этого сгинувшего навеки создания, торговавшего ерундой и наводнившего всю страну своими лживыми рекламами, чтобы добиться — чего же? — чтобы завести себе нелепый, безобразный огромный дом, действующий на нервы автомобиль, дерзких и льстивых слуг и, быть может, при помощи низких уловок и ухищрений добиться звания баронета как венца всей своей жизни. Вы не можете себе вообразить всю мелочность и всю ничтожность прошлой жизни с ее наивными и неожиданными нелепостями. И вот теперь я в первый раз думал об этом без горечи. Раньше все это казалось мне подлым и трагичным, теперь же я видел во всем только бессмыслицу. Смехотворность человеческого богатства и знатности открылась мне во всем блеске новизны и озарила меня, словно восходящее солнце, и я захлебнулся смехом. Свинделс, проклятый Свинделс! Мое представление о Страшном суде вдруг превратилось в забавную карикатуру: я увидел ангела — лик его закрыт, но он посмеивается — и огромного, толстого Свинделса, которого выставляют напоказ под хохот небесных сфер.

— Вот премилая вещица, очень, очень милая! Что с ней делать?

И вот у меня на глазах из огромного, толстого тела вытягивают душу, словно улитку из раковины.

Я долго и громко смеялся. Но вдруг величие всего совершившегося сразило меня, и я зарыдал, зарыдал отчаянно, и слезы потекли у меня по лицу.

Пробуждение начиналось всюду с восходом солнца. Мы пробуждались к радости утра; мы шли, ослепленные радостным светом. И повсюду одно и то же. Было непрерывное утро. Было утро, потому что до тех пор, пока прямые лучи солнца не пронзили атмосферу, изменившийся азот ее не возвращался в свое обычное состояние, и все уснувшее лежало там, где упало. В своем переходном виде воздух был инертен, не способен произвести ни оживления, ни оцепенения; он уже не был зеленым, но не превратился еще в тот газ, который теперь живет в нас...

Мне думается, каждый испытал то же, что я старался описать, — чувство удивления и ощущение радостной новизны. Это часто сопровождалось путаницей в мыслях и глубокой растерянностью. Я ясно помню, как сидел на ступеньке и никак не мог понять, кто же я такой; я задавал себе самые странные метафизические вопросы. «Я ли это? — спрашивал я себя. — И если это действительно я, то почему я не продолжаю яростно разыскивать Нетти? Теперь Нетти и все мои страдания кажутся мне очень далекими и чуждыми. Как мог я так внезапно исцелиться от этой страсти? Почему мой пульс не бьется сильнее при мысли о Верроле?»

Я был всего лишь одним из миллионов людей, переживших в то утро те же сомнения. Мне кажется, что человек после сна или обморока твердо знает, кто он, по привычным ощущениям своего тела, а в то утро все наши обычные телесные ощущения изменились. Изменились и самые существенные химические жизненные процессы и соответствующие нервные реакции. Сбивчивые, изменчивые, неопределенные и отуманенные страстями мысли и чувства прошлого заменились прочными, устойчивыми, здоровыми процессами. Осязание, зрение, слух — все изменилось, все чувства стали тоньше и острее. Если бы наше мышление не стало более устойчивым и емким, то мне кажется, множество людей сошло бы с ума. Только благодаря этому мы смогли понять то, что случилось. Господствующим ощущением, характерным для происшедшей Перемены, было чувство

огромного облегчения и необычайной восторженности всего нашего существа. Очень живо ощущалось, что голова легка и ясна, а перемена в телесных ощущениях, вместо того чтобы вызывать помрачение мысли и растерянность — обычные проявления умственного расстройтва в прежнее время, — теперь порождала только отрешение от преувеличенных страстей и путаной личной жизни.

В рассказе о моей горькой, стесненной юности я постоянно старался дать вам понять всю ограниченность, напряженность, беспорядочность пыльной и затхлой атмосферы старого мира. Не прошло часа после пробуждения, как мне стало вполне ясно, что каким-то таинственным способом все это навсегда миновало. То же почувствовали и все вокруг. Люди вставали, глубоко, полной грудью вдыхали струю обновленного воздуха, и прошлое отпадало от них; они легко прощали, не принимали ничего близко к сердцу, могли начать все снова...

И тут не было ничего необычного, не было чуда, изменившего весь прежний строй мира, а была лишь перемена материальных условий, перемена атмосферы, которая мгновенно освободила людей. Иных она освободила и от жизни... В сущности же, человек несколько не изменился. Мы все, и даже самые жалкие из нас, знали еще до Перемены по счастливейшим мгновениям, пережитым и нами и другими людьми, знали из знакомства с историей, музыкой и другими прекрасными вещами, из легенд и рассказов о героях и о славных подвигах, как высоко может подняться человечество, как величествен может быть почти каждый человек при благоприятных условиях; воздух был отравлен, беден всеми благородными элементами, и это делало такие моменты редкими и замечательными, но теперь все это изменилось. Изменился воздух, и Дух Человеческий, дремавший, оцепеневший и грезивший лишь о темных и злых делах, теперь пробудился и удивленными, ясными глазами снова смотрел на жизнь.

Чудо пробуждения я встретил в одиночестве, сначала смехом, а потом слезами. Только спустя некоторое время я встретил другого человека. Пока я не услышал его голоса, мне и в голову не приходило, что в этом мире есть и другие люди. Мне казалось, что все исчезло вместе с былыми бедствиями. Я выбрался из той пропасти, в которой

себялюбиво и трусливо прозябал, и сердцем слился со всем человечеством; мне даже казалось, что я и есть все человечество. Я смеялся над Свинделсом, как смеялся бы над самим собою, и крик человека показался мне всего лишь неожиданной мыслью, промелькнувшей у меня в голове. Но когда крик повторился, я откликнулся.

— Я ушибся, — проговорил незнакомый голос.

Я тотчас же спустился на дорогу и увидел Мелмаунта, сидевшего у канавы спиной ко мне.

Некоторые случайные впечатления этого утра очень глубоко врезались в мою память, и я уверен, что, когда я увижу великие тайны потустороннего мира, а этот мир испарится из моей памяти, точно утренний туман под солнцем, эти ничтожные мелочи забудутся последними; они будут последними ключьями тающей туманной пелены. Я мог бы и теперь подобрать мех в цвет воротника его пальто для автомобильной езды, мог бы изобразить красками бледный румянец его толстой щеки и светлые ресницы, освещенные солнцем. Шляпы на нем не было, и его большая голова с выпуклым лбом и мягкими светло-рыжими волосами была наклонена вперед, так как он внимательно рассматривал свою вывернутую ногу. Его спина казалась громадной, и во всей его массивной фигуре было что-то привлекательное.

— Что с вами? — спросил я.

— Послушайте, — ответил он звучным, ясным голосом, стараясь обернуться, чтобы посмотреть на меня, и я увидел профиль с правильным носом и чувственной толстой губой, хорошо известный карикатуристам всего мира. — Я говорю, плохо мое дело. Я упал и вывихнул ногу. Где вы?

Я обошел его кругом и остановился перед ним. Он снял с ноги ботинок, носок и подвязку, кожаные шоферские перчатки валялись в стороне, и он своими толстыми пальцами ощупывал больное место, чтобы определить повреждение.

— Да ведь вы Мелмаунт! — воскликнул я.

— Мелмаунт, — повторил он задумчиво. — Да, меня так зовут, — продолжал он, не поднимая головы. — Но это не имеет никакого отношения к моей ноге.

Несколько секунд мы молчали, и он только слегка стонал от боли.

— Знаете ли вы, что случилось в мире? — спросил я.

Он, по-видимому, закончил свой осмотр и сказал:

— Она не сломана.

— Знаете ли вы, — повторил я, — что случилось с Землей?

— Нет, — ответил он, в первый раз равнодушно взглянув на меня.

— Разве вы ничего не замечаете?

— Да, правда...

Он улыбнулся, и улыбка его была неожиданно очень приятной; в глазах мелькнул интерес.

— Я был слишком занят моими внутренними ощущениями, но теперь вижу необычайный блеск всего окружающего. Вы это имели в виду?

— Да, отчасти это. И какое-то странное ощущение, ясность ума...

Он задумчиво смотрел на меня.

— Я очнулся, — сказал он, припоминая.

— И я...

— Я заблудился — не помню каким образом. Был какой-то зеленый туман...

Он уставился на свою ногу, стараясь вспомнить.

— Что-то связанное с кометой. Я был у изгороди в темноте... пытался бежать... и потом, вероятно, упал в канаву. Вон там, — указал он кивком головы, — лежит сломанная деревянная изгородь, я, вероятно, споткнулся о нее, когда бежал по полю.

Он посмотрел туда и добавил:

— Да...

— Было темно, — заметил я, — и откуда-то появился зеленый туман или газ. Это последнее, что я помню...

— И потом вы очнулись? Я тоже... с необычайным удивлением. В воздухе, несомненно, есть что-то странное. Я... Я мчался по дороге на автомобиле, был очень возбужден и занят своими мыслями. Я доехал. — Он с торжеством поднял палец. — Да, вспомнил! Броненосцы... Теперь я вспомнил. Мы растянули наш флот отсюда до Текселя. Мы прорвались через них и через минированную Эльбу. Мы потеряли «Лорда Уордена», черт возьми! Да, «Лорд Уорден!» Линейный корабль, стоивший два миллиона фунтов стерлингов, — и этот дурак Ригби говорил еще, что это пустяки. Погибли тысяча сто

человек... Да, теперь я припоминаю. Мы точно с неводом прошли Северное море, а североатлантический флот караулил их у Фарерских островов, и ни на одном судне не было запаса угля даже на трое суток. Был ли это сон? Я говорил все это множеству собравшихся людей, стараясь успокоить их, — может быть, это был митинг? Они были настроены воинственно, но очень напуганы. Станный народ! Большинство из них были пузаты и лысы, как гномы. Где это было? Ах да, конечно. Был большой обед... устрицы... в Колчестере. Я там был, чтобы доказать, что весь этот страх перед вторжением — чистейшая чепуха... И я ехал обратно... Но все это, кажется, было так давно... Нет, по-видимому, недавно. Конечно, совсем недавно... Я сошел с автомобиля у подъема, хотел пройти по тропинке через холм, — все говорили, что за одним из их линейных кораблей гнались вдоль берега. Да, несомненно. Я слышал их пушки...

Он задумался.

— Странно, что я мог забыть. А вы слышали выстрелы?

Я ответил, что слышал.

— И это было прошлой ночью?

— Да, прошлой ночью. В час или два утра.

Он склонил голову на руку и посмотрел на меня с искренней улыбкой.

— Как все странно, — сказал он. — Все кажется каким-то нелепым сном. Как вы думаете: было такое судно «Лорд Уорден»? Вы действительно верите тому, что мы пустили эту железную громаду на дно ради забавы? Ведь это был сон. А между тем это в самом деле произошло.

С точки зрения прежнего времени было просто невероятно, что я так свободно беседовал с таким важным человеком.

— Да, — ответил я, — это так. Чувствуешь, что очнулся от чего-то большего, чем зеленый газ. Кажется, будто прошлое нам только почудилось.

Он нахмурил брови и задумчиво потрогал ногу.

— Я говорил речь в Колчестере, — сказал он.

Я думал, что он расскажет об этом еще что-нибудь, но у него еще не исчезла привычка к сдержанности, и он промолчал.

— Очень странно, — заговорил он потом, — эта боль скорей интересна, чем неприятна.

— Вы чувствуете боль?

— Да, болит лодыжка. Она или сломана, или вывихнута. Я думаю, что вывихнута. Очень больно ею двигать, но сам я несколько не страдаю. Нет ни малейшего признака общего недомогания, обычного при местном повреждении...

Он снова задумался, потом продолжал:

— Я говорил речь в Колчестере, она была о войне. Теперь я начинаю припоминать. Репортеры записывали, записывали... Макс Сутен, 1885. Шум, гам. Compliments по поводу устриц. Гм... О чем я говорил? О войне? Да, о войне, которая неизбежно будет долгой и кровопролитной, возьмет дань с замков и хижин, потребует жертв!.. Фразы! Риторика!.. Уж не был ли я пьян прошлой ночью?

Он снова нахмурил брови, согнул правое колено, оперся на него локтем и подпер подбородок рукой. Его серые, глубоко сидевшие глаза из-под густых, нависших бровей, казалось, вглядывались во что-то, видимое только ему самому.

— Боже мой! — прошептал он. — Боже мой!

И в голосе его слышалось отвращение. Его крупная неподвижная фигура, освещаемая солнцем, оставляла впечатление величия, и не только физического; я почувствовал, что нельзя сейчас мешать ему думать. Прежде мне не приходилось встречать подобных людей; я даже не знал, что такие люди существуют...

Странно, что теперь я не могу припомнить моих прежних представлений о государственных деятелях, но я вряд ли вообще думал о них как о реальных людях с более или менее сложной духовной жизнью. Мне кажется, что мое понятие о них слагалось очень примитивно — из сочетания карикатур с передовыми статьями газет. Конечно, я не питал к ним никакого уважения. А тут без всякого раболепия или неискренности, словно это был первый дар Перемены, я очутился перед человеком, по отношению к которому чувствовал себя низшим и подчиненным, и стоял перед ним, повторяю, без раболепия и неискренности, и говорил с ним с почтительным уважением. Мой жгучий и закоренелый эгоизм — или, быть может, мое положение в жизни? — никогда не позволил бы мне раньше вести себя так.

Он очнулся от задумчивости и, все еще недоумевая, сказал:

— Эта моя речь прошлой ночью была отвратительной, вредной чепухой. Ничто не может этого изменить. Ничто... Да... Маленькие жирные гномы во фраках, плотающие устриц. Пфуй!

Естественным последствием чуда этого утра было то, что он говорил со мной просто и откровенно, и это ничуть не уменьшало моего уважения к нему. И это тоже было естественным для этого необыкновенного утра.

— Да, — сказал он, — вы правы. Все это, бесспорно, было, а между тем мне не верится, чтобы это было наяву.

Воспоминания этого утра необычайно ярко выделяются на фоне мрачного прошлого мира. Я помню, что воздух полон был щебета и пения птиц. У меня осталось странное впечатление, будто к этому присоединился отдаленный радостный звон колоколов, но, вероятно, этого не было. Тем не менее в острой свежести явлений, в росистой новизне ощущений было что-то такое, что оставило впечатление ликующего перезвона. И этот толстый, светловолосый, задумчивый человек, сидящий на земле, был тоже по-своему прекрасен даже в неуклюжей позе, словно его и в самом деле создал великий мастер силы и настроения.

И (такие вещи очень трудно объяснить) со мною, с человеком, ему совершенно незнакомым, он говорил вполне откровенно, без опасений, так, как теперь люди говорят между собой. Прежде мы не только плохо думали, но по близорукости, мелочности, из страха уронить собственное достоинство, по привычке к повиновению, осмотрительности и по множеству других соображений, рожденных душевным ничтожеством, мы приглушали и затемняли наши мысли прежде, чем высказать их другим людям.

— Я начинаю припоминать, — заметил он и, как бы раздумывая вслух, высказал мне все, что вспомнил.

Жаль, что я не могу в точности воспроизвести каждое его слово; он целым рядом образов, набросанных отрывистыми мазками, поразил мой ум, только начинавший мыслить. Если бы я сохранил точное и полное воспоминание о том утре, я буквально и тщательно все передал бы вам. Но за исключением некоторых отчетливых подробностей у меня сохранилось только смутное общее впечатление.

Мне приходится с трудом восстанавливать в памяти полузабытые слова и изречения и довольствоваться только передачей их смысла. Но мне кажется, будто и теперь я вижу его и слышу, как он говорит:

— Под конец сон этот стал невыносимым. Война так ужасна! Да, ужасна. Какой-то кошмар душил нас всех, и никто не мог избежать его.

Теперь он уже совсем отбросил свою сдержанность.

Он показал мне войну такую, какой каждый видит ее теперь. Но в то утро это казалось удивительным. Он сидел на земле, совершенно забыв о своей голой распухшей ноге, относясь ко мне, как к случайному собеседнику и в то же время как к равному, и высказывал как бы самому себе то, что его особенно мучило.

— Мы могли бы предупредить эту войну. Любой из нас, пожелавший высказаться откровенно, мог бы предупредить ее. Нужно было только немного откровенности. Но что мешало нам быть откровенным друг с другом? Их император? Конечно, его положение основывалось на нелепейшем честолюбии, но, в сущности, он был человек благоразумный. — Он несколькими четкими фразами охарактеризовал германского императора, германскую прессу, германцев и англичан. Он говорил об этом так, как мы могли бы это сделать теперь, но с некоторой горячностью, как человек, сам в этом виновный и теперь раскаивающийся.

— Их проклятые ничтожные профессора, застегнутые на все пуговицы! — воскликнул он. — Ну, возможны ли такие люди? А наши? Некоторые из нас тоже могли бы действовать решительнее... Если бы многие из нас твердо стояли на своем и вовремя предотвратили эту нелепость...

Он продолжал невнятно шептать что-то, затем смолк...

Я стоял, не спуская с него глаз, понимая его, и поучался. Я до такой степени забыл о Нетти и Верроле, что почти все это утро они казались мне действующими лицами какой-то повести, которую ради беседы с этим человеком я отложил в сторону, чтобы дочитать ее потом, на досуге.

— Ну, что ж, — сказал он, внезапно очнувшись от своих мыслей. — Мы пробудились. Теперь всему этому необходимо положить конец. Каким образом все началось? Дорогой мой мальчик, как случилось, что все это началось? Я чувствую себя новым

Адамом... Как вы думаете, со всеми ли происходит то же самое, или мы снова встретим тех же гномов и те же дела?.. Но будь, что будет!

Он попытался было встать, но вспомнил о больной ноге и попросил меня помочь ему добраться до его домика. Нам обоим ничуть не показалось странным, что он попросил моей помощи и что я охотно оказал ее ему. Я помог ему забинтовать лодыжку, и мы пустились в путь, причем я служил ему костылем. Направляясь к утесам и морю, мы оба напоминали некое хромое четвероногое, ковлявшее по извилистой тропинке.

От дороги до его домика, за изгибом залива, было около мили с четвертью. Мы спустились к морскому берегу и вдоль белых, сплаженных волнами песков, качаясь и прыгая на трех ногах, подвигались вперед, пока я наконец не изнемогал под его тяжестью, тогда мы садились отдохнуть. Его лодыжка была действительно сломана, и при малейшей попытке стать на эту ногу он испытывал страшную боль, так что нам потребовалось около двух часов, чтобы добраться до его дома, да и то только потому, что на помощь к нам явился его слуга, иначе мы шли бы еще долго. Слуги нашли автомобиль и шофера искалеченными у поворота дороги, близ дома, и искали Мелмаунта в той же стороне, а не то они увидели бы нас раньше.

По пути мы большею частью сидели то на траве, то на меловых глыбах или на поваленных деревьях и разговаривали с откровенностью, свойственной доброжелательным людям, беседующим без всяких задних мыслей и без враждебности, с обычной теперь свободой, которая в то время была большой редкостью. Больше говорил он, но по поводу какого-то вопроса я рассказал ему, насколько мог подробно, о своей страсти, которую к этому времени перестал понимать, о погоне за Нетти и ее возлюбленным, о намерении убить их и о том, как меня настиг зеленый газ.

Он смотрел на меня своими строгими, серьезными глазами, кивал головою в знак того, что понимает меня, а потом задавал мне краткие, но меткие вопросы о моем образовании, воспитании и о моих

занятиях. Его манера говорить отличалась одной особенностью: он иногда делал краткие паузы, которые, однако, не затягивали его речи.

— Да, — заметил он, — да, конечно. Какой же я был глупец.

И больше он ничего не говорил, пока мы прыгали на трех ногах по берегу до следующей остановки. Вначале я не понимал, какая связь может быть между моим рассказом и его самообвинением.

— Предположите, — сказал он, тяжело дыша и усаживаясь на сваленное дерево, — что нашелся бы государственный деятель... — Он обернулся ко мне. — И он решил бы положить конец всей этой мути и грязи. Если бы он, подобно тому, как ваятель берет свою глину, как зодчий выбирает место и камень, взял и сделал бы... — Он вскинул свою большую руку к чудесному небу и морю и, глубоко вздохнув, прибавил:

— Нечто достойное такой рамы.

И затем пояснил:

— Тогда, знаете ли, совсем не случилось бы таких историй, как ваша...

— Расскажите мне об этом еще, — сказал он потом. — Расскажите о себе. Я чувствую, что все это миновало, что все теперь навсегда изменилось... Отныне вы не будете тем, чем были до сих пор. И все, что вы делали до сих пор, теперь не имеет никакого значения. Для нас, во всяком случае, не имеет. Мы встретились с вами — мы, разделенные в том мраке, который остался там, позади нас. Рассказывайте же.

И я рассказал ему всю мою историю так же просто и откровенно, как передал ее вам.

— Вон там, — сказал он, — где эти утесы спускаются к морю, по ту сторону мыса находится поселок Бунгало. А что вы сделали с вашим револьвером?

— Я оставил его там, в ячмене.

Он взглянул на меня из-под светлых ресниц.

— Если и другие люди чувствуют то же, что и мы с вами, — заметил он, — то сегодня много револьверов будет валяться в ячмене...

Так беседовали мы — я и этот большой, сильный человек, — с братской любовью и откровенностью. Мы всей душой доверяли друг другу, а ведь раньше я всегда держался скрытно и недоверчиво со

всеми. Я и теперь ясно вижу, как на этом диком, пустынном морском берегу, который весь уходил под воду во время прилива, стоит он, прислонившись к обросшему раковинами обломку корабля, и смотрит на утонувшего беднягу матроса, на которого мы наткнулись. Да, мы нашли труп недавно утонувшего человека, не встретившего ту великую зарю, которой мы наслаждались. Мы нашли его лежащим в воде, среди темных водорослей, в тени обломков. Вы не должны преувеличивать ужасы прежнего мира: смерть была тогда в Англии таким же тяжелым зрелищем, как теперь. Это был матрос с «Ротер Адлера», с того самого германского линейного корабля — мы тогда не знали об этом, — который менее чем в четырех милях от нас лежал у берега, среди известняка и ила, представляя собою разбитую и исковерканную массу машин, залитую во время прилива и хранившую в своих недрах девятьсот утонувших матросов, и все они были людьми сильными и ловкими, способными хорошо работать и приносить пользу...

Я очень ясно помню этого бедного матросика. Он утонул, потеряв сознание от зеленого газа; его красивое молодое лицо было спокойно, но кожа на груди обожжена кипевшей водой, а правая рука, видимо, сломанная, искривлена под странным углом. Даже эта бесполезная, ненужная смерть при всей ее жестокости дышала красотой и величием. Все мы вместе сливались в этот момент в многозначительную картину: и я, простой пролетарий, одетый в скверное платье, и Мелмаунт в своем широком пальто, отороченном мехом, — ему было жарко, но он так и не догадался снять пальто; прислонившись к обломкам, он с жалостью глядел на несчастную жертву той войны, возникновению которой он так содействовал.

— Бедняга, — сказал он. — Бедный ребенок, которого мы, путаники, послали на смерть! Посмотрите, как величаво и красиво это лицо и это тело! Подумать только, так бесполезно погибнуть!

Я помню, выброшенная на берег морская звезда, стараясь пробраться обратно к морю, медленно проползла вдоль руки мертвеца, осторожно нащупывая дорогу своими «лучами»; за ней на песке оставалась неглубокая борозда.

— Этого больше не должно быть, — задыхаясь, говорил Мелмаунт, опираясь на мое плечо, — не должно быть.

Но больше всего мне вспоминается Мелмаунт в ту минуту, когда он сидел на известковой глыбе и солнце освещало его широкое потное лицо.

— Мы должны покончить с войной, — тихо, но решительно говорил он, — это бессмыслица. Сейчас такая масса людей умеет читать и думать, что войны легко можно избежать. Боже мой! Чем мы, правители, только занимались! Мы дремали, как люди в душной комнате, слишком отупевшие и сонные и слишком скверно относившиеся друг к другу, чтобы кто-нибудь поднялся, раскрыл окно и впустил свежую струю воздуха. И чего только мы не натворили!

Я до сих пор вижу его крупную, мощную фигуру. Он возмущался самим собою и удивлялся всему, что было раньше.

— Мы должны все изменить, — повторял он, взметнув свои большие руки к морю и небу. — Мы сделали так мало, и одному богу известно, почему.

Мне все еще рисуется этот своеобразный гигант, каким он показался мне тогда на этом побережье, освещенном торжествующим блеском утреннего солнца; над нами летали морские птицы, у ног лежал труп с ошпаренной грудью — символ грубости и бесполезной ярости слепых сил прошлого. И как существенная часть картины мне вспоминается также, что вдали, за песчаной полосой, среди желто-зеленого дерна, на вершине низкого холма, торчала одна из белых реклам-объявлений о продаже земельных участков.

Он говорил, как бы удивляясь тому, что делалось прежде.

— Пробовали ли вы когда-нибудь представить себе всю низость, да, низость каждого человека, ответственного за объявление войны? — спросил он.

Потом, как будто нужны были еще доказательства, он стал описывать Лейкока, который первым в совете министров произнес чудовищные слова.

— Это, — говорил Мелмаунт, — маленький оксфордский нахал с тоненьким голоском и запасом греческих изречений, один из недорослей, вызывающих восторженное поклонение своих старших сестер. Почти все время я следил за ним, удивляясь, что такому ослу вверены судьбы и жизнь людей... Было бы лучше, конечно, если бы я то же думал и о самом себе. Ведь я ничего не сделал, чтобы воспрепятствовать всему этому! Этот проклятый дурак упивался

значительностью минуты и, выпучив на нас глаза, с восторгом восклицал: «Итак, решено — война!» Ричовер пожимал плечами; я слегка протестовал, но сразу уступил... Впоследствии он мне снился...

— Да и что это была за компания! Все мы боялись самих себя — все были только слепыми орудиями... И вот подобного рода глупцы доводят до таких вещей. — Он кивком указал на труп, лежавший около нас.

— Интересно узнать, что случилось с миром... Этот зеленый газ — странное вещество. Но я знаю, что случилось со мною — обновление. Я всегда знал... Впрочем, хватит быть дураком. Болтовня! Это нужно прекратить.

Он попытался встать, неуклюже протянув руки.

— Что прекратить? — спросил я, невольно сделав шаг вперед, чтобы помочь ему.

— Войну, — громко прошептал он, положив свою большую руку мне на плечо, но не делая дальнейших попыток встать. — Я положу конец войне — всякой войне. Нужно покончить со всеми подобными вещами. Мир прекрасен, жизнь великолепна и величественна, нужно было только раскрыть глаза и посмотреть. Подумайте о величии мира, по которому мы бродили, словно стадо свиней по саду. Сколько красоты цвета, звука, формы! А мы с нашей завистью, нашими ссорами, нашими мелочными притязаниями, нашими неискоренимыми предрассудками, нашими пошлыми затеями и тупою робостью только болтали да клевали друг друга и оскверняли мир, словно галки, залетевшие в храм, как нечистые птицы в святилище. Вся моя жизнь состояла из сплошной глупости и низости, грубых удовольствий и низких расчетов, вся, с начала до конца. Я жалкое, темное пятно на этом сияющем утре, позор и воплощенное отчаяние. Да, но если бы не милость божья, я мог бы умереть сегодня ночью, как этот несчастный матросик; умереть, так и не очистившись от своих грехов. Нет, больше этого не будет! Изменился ли весь мир или нет — все равно. Мы двое видели эту зарю...

Он на минуту замолчал, потом заговорил:

— Я восстану и явлюсь пред очи господя моего и скажу ему...

Его голос перешел в неразборчивый шепот, он с трудом оперся на мое плечо и встал...

2. Пробуждение

Так настал для меня великий день.

И так же, как я, на той же заре пробудился и весь мир.

Ведь весь мир живых существ был охвачен тем же беспамятством; в какой-нибудь один час при соприкосновении с газом кометы вся атмосфера, окутывавшая земной шар, внезапно переродилась. Говорят, что в одно мгновение изменился азот воздуха, а через час или около того превратился в газ, годный для дыхания, отличавшийся, правда, от кислорода, но поддерживавший его действие, словно укрепляющая и исцеляющая ванна для нервной и мозговой системы. Я точно не знаю тех химических изменений, которые тогда произошли, и тех названий, которые дали им химики, так как моя работа отвлекла меня от этого; знаю только, что переродились и я и все люди.

Я представляю себе, как это явление произошло в пространстве: одно мгновение в жизни планеты, легкий дымок, легкое вращение метеора, приближавшегося к нашей планете, подобной шару, летящей в космосе со своей ничтожной, почти неощутимой оболочкой облаков и воздуха, с темными омутами океанов и сверкающими выпуклостями материков. И когда эта мошка из беспредельного пространства коснулась земли, прозрачная внешняя оболочка нашей планеты окрасилась в густой зеленый цвет и снова прояснилась...

Затем в течение трех часов или больше — мы знаем, что Перемена совершалась в течение приблизительно трех часов, так как все часы продолжали ходить, — повсюду люди, животные и птицы — словом, все живые существа, дышащие воздухом, — замерли в беспамятстве.

В тот день повсюду на земле, где дышат живые существа, так же глухо шумел воздух, так же распространялся зеленый газ, так же с хрустом низвергался поток падающих звезд. Индус прервал свою утреннюю работу в поле, чтобы посмотреть, подивиться и упасть; китаец в синей одежде упал головой вперед на чашку с полуденной порцией риса; удивленный японский купец вышел из своей лавки и тут же свалился у ее дверей; зеваки у Золотых Ворот упали без чувств

в то время, когда поджидали появления великой звезды. То же самое случилось во всех городах мира, во всех уединенных долинах, во всех домах и жилищах, палатках и на открытом воздухе. В море пассажиры больших пароходов, жаждущие зрелищ, тоже любовались кометой и удивлялись, а потом, внезапно охваченные ужасом, кидались к трапам и падали без чувств; капитан зашатался на своем мостике и упал; кочегар растянулся на угле: машины продолжали работать, никем не управляемые, пароход шел вперед, и встречавшиеся мелкие парусные суда рыбаков, тоже потерявшие управление, опрокидывались и шли ко дну.

Грозный голос ошутимого, осязаемого Рока воскликнул: «Стой!» И в самом разгаре игры действующие лица падали и замирали. Мне вспоминается целый ряд картин. В Нью-Йорке произошло следующее: в большей части театров публика разошлась, но в двух, особенно переполненных, дирекция, опасаясь паники, продолжала давать представление среди наступившего мрака, и публика, наученная многочисленными несчастными случаями, не вставала со своих мест. Зрители продолжали неподвижно сидеть — только в задних рядах произошло движение, — и потом, одновременно теряя сознание, ряд за рядом склонялись на спинки кресел и соскальзывали или падали на пол. Парлод утверждает, хотя я не знаю, на чем основана его уверенность, что спустя час после момента великого столкновения азот потерял свою необычную зеленую окраску, и воздух стал так же прозрачен, как всегда. Все дальнейшее происходило при совершенно прозрачном воздухе, и если бы кто-нибудь не потерял сознания, то он мог бы видеть, как все это происходило. В Лондоне это случилось ночью, но в Нью-Йорке, например, — в самый разгар вечерних увеселений, а в Чикаго — ближе к ужину, и улицы были полны людей. Луна, вероятно, освещала улицы и площади, усыпанные валявшимися телами, по которым электрические трамваи без автоматических тормозов продолжали свой путь, пока не останавливались из-за груды человеческих тел, мешавших движению. Люди лежали в своих обычных костюмах в столовых, ресторанах, на лестницах, в вестибюлях — словом, всюду, где их застигла катастрофа. Игроки, пьяницы, воры, подстерегавшие жертву в потайных местах, пары, предававшиеся порочной любви, были застигнуты тут же, на месте, чтобы очнуться потом с пробужденным сознанием и угрызениями

совести. Америку, повторяю, час встречи кометы с землей застал в самый разгар вечернего оживления, Великобританию же ночью. Но, как я уже говорил, Великобритания не очень-то крепко спала, так как была охвачена войной и ждала решающей битвы и победы. По Северному морю сновали военные суда, словно сеть, ловящая врагов. На суше этой ночью тоже ожидали больших событий. Германские войска стояли под ружьем от Редингена до Маркирха, колонны пехоты в прерванном ночном походе полегли рядами, как скошенное сено, на всех дорогах между Лонгнионом и Тианкуром и между Аврикуром и Доненом. Холмы за Спинкуром были густо усыпаны затаившейся французской пехотой; французские передовые отряды лежали рядами среди лопат, которыми они копали еще не законченные траншеи и окопы, извивавшиеся на пути передовых отрядов немецких колонн, вдоль гребня Вогезских гор через границу, около Бельфора, почти вплоть до Рейна...

Венгерские и итальянские крестьяне зевали, думая, что еще не рассвело, и поворачивались на другой бок, чтобы впасть в сон без сновидений. Магометанский мир в это время молился на своих ковриках и так и не успел закончить молитву. В Сиднее, в Мельбурне, в Новой Зеландии туман появился после полудня и разогнал толпы народа, собравшиеся на бегах и на крокетных площадках; выгрузка судов была приостановлена, и люди высыпали на улицы, чтобы зашататься и упасть...

Я мысленно переношусь в леса, пустыни и джунгли земного шара, к жизни животных, которая остановилась, как и человеческая, и рисую себе тысячи проявлений этой жизни, прерванной и как бы замороженной, подобно тем замерзшим словам, которые Пантагрюэль встретил в море. Оцепенели не только люди — все живые существа, дышащие воздухом, превратились в бесчувственные, мертвые предметы. Животные и птицы валялись среди поникших деревьев и на траве в охвативших мир сумерках; тигр растянулся рядом с только что убитой им жертвой, истекшей кровью во сне без сновидений... Даже мухи с распростертыми крыльями валялись на землю, а паук, съезжившись, повис в своих полных добычи тенетах; бабочки

спускались на землю, как ярко разрисованные снежные хлопья, падали и замирали. Только одни рыбы, по-видимому, не пострадали...

Кстати, о рыбах; я вспомнил об одном странном эпизоде в этом великом всемирном сне. Необыкновенные приключения экипажа подводной лодки «Б-94» всегда казались мне примечательными. Это были, кажется, единственные люди, совершенно не видевшие зеленого покрывала, распростертого над всей землей. В то время как все на земле замерло, они пробирались в устье Эльбы, очень медленно и осторожно скользя над илистым дном мимо минных заграждений в лабиринте зловещих стальных раковин, начиненных взрывчатым веществом. Они прокладывали путь для своих сотоварищей с плавучей базы, дрейфовавшей вне опасной зоны. Затем в канале, по ту сторону вражеских укреплений, они наконец всплыли, чтобы наметить себе жертвы и пополнить запас воздуха. Это, вероятно, случилось до рассвета, так как они рассказывали о ярком блеске звезд. Они изумились, увидя в трехстах ярдах от себя броненосец, севший на мель среди тины и при отливе опрокинувшийся набок. На броненосце был пожар, но никто не обращал на это внимания — никого среди странной и ясной тишины это не интересовало, — и смущенным и ничего не понимавшим морякам казалось, что не только этот корабль, но и все темные корабли кругом наполнены мертвыми людьми.

Им, должно быть, пришлось испытать самое странное ощущение: они не впали в бессознательное состояние; они тотчас и, как мне говорили, с внезапным приступом смеха начали дышать обновленным воздухом. Никто из них не владел пером, никто не описал своего удивления, мы не имеем сведений о том, что они говорили. Но мы знаем, что эти люди бодрствовали и работали по меньшей мере за полтора часа до всеобщего пробуждения, так что, когда немцы наконец пришли в себя и встали, то увидели, что англичане хозяйничают на их судне, что подводная лодка беспечно качается на волнах, а ее экипаж, перепачканный и усталый, в каком-то яростном возбуждении хлопочет при блеске зари, спасая своих лишившихся чувств врагов от страшной смерти в воде и огне...

Но участь нескольких кочегаров, которых матросам подводной лодки так и не удалось спасти, напоминает мне целый ряд ужасных событий, происшедших во время Перемены, событий, о которых нельзя умолчать, хотя Перемена в общем принесла миру счастье и

благоденствие. Невозможно забыть, как неуправляемые корабли разбивались о берег и шли ко дну со всеми уснувшими на них людьми; как автомобили мчались по дорогам и разбивались; поезда шли вперед, невзирая ни на какие сигналы, и, к удивлению очнувшихся машинистов, оказывались на совсем не подходящих путях, с погасшими огнями в топках, или, что еще хуже, удивленные крестьяне или очнувшиеся сторожа находили вместо поездов груды дымящихся развалин. Литейные печи в Четырех Городах продолжали пылать, и их дым, как прежде, стлался по небу. Огни вследствие происшедшей перемены в составе воздуха вспыхивали ярче...

Представьте себе то, что произошло в промежуток времени между составлением и печатанием того экземпляра «Нового Листка», который лежит теперь передо мною. Это была первая газета, отпечатанная на земле после Великой Перемены. Она имеет такой вид, как будто ее долго таскали в кармане, она почернела, потому что отпечатана на бумаге, которую никто не предполагал долго хранить. Я нашел ее на столе беседки в саду гостиницы, где я поджидал Нетти и Веррола, чтобы переговорить с ними, — об этом я еще расскажу. При взгляде на газету мне вспоминается Нетти в белом платье на зелено-голубом фоне освещенного солнцем сада — она стоит и всматривается в мое лицо, в то время как я читаю...

Газета так потерта, что листы ее ломаются по сгибам и рассыпаются в моих руках. Она лежит на моем столе как мертвое воспоминание о мертвой эпохе и мучительных страстях моей души. Помню, что мы обсуждали последние новости, но никак не могу вспомнить, что мы говорили; знаю только, что Нетти говорила очень мало, Веррол же читал газету из-за моего плеча... и мне не нравилось, что он читает ее из-за моего плеча.

Эта газета, лежащая теперь передо мною, вероятно, помогла нам преодолеть первое замешательство при этом свидании.

Но обо всем, что мы говорили и делали тогда, я расскажу позднее...

Этот номер «Нового Листка» был набран вечером, и только потом значительную часть стереотипа пришлось заменить. Я недостаточно знаком со старыми способами печатания и не могу передать, как это

происходило, но впечатление такое, будто целые столбцы были вырезаны и заменены новыми. Вообще газета кажется грубой и развязной, новые столбцы отпечатаны чернее и грязнее, чем старые, исключая левую сторону, где недостает краски и печать неровная. Один из моих приятелей, немного знакомый с прежним типографским делом, говорил мне, что типографская машина, на которой печатался «Новый Листок», возможно, была в ту ночь испорчена и что утром, после Перемены, Бенгхерст, чтобы отпечатать этот номер, арендовал соседнюю типографию, может быть, зависевшую от него в денежном отношении.

Начальные страницы целиком принадлежат старому времени, и только две полосы в середине подверглись изменениям. Здесь на четыре столбца протянулся необычный заголовок — «Что случилось». Затем весь столбец пересекают кричащие подзаголовки: «Идет великая морская битва. Решается участь двух империй», «Донесение о потере еще двух...»

Эти сообщения, как я понимаю, теперь не заслуживают никакого внимания. Вероятно, это были предположения и новости, сфабрикованные в самой редакции.

Интересно сложить все эти истрепанные и потертые отрывки и перечитать выцветший первый плод мысли новой эпохи.

В замененных частях газеты простые, ясные статьи поразили меня своим смелым и необычным языком среди остальной высокопарной болтовни на плохом английском языке. Теперь они кажутся мне голосом здравомыслящего человека среди выкриков сумасшедших. Но они свидетельствуют также и о том, как быстро Лондон пришел в себя и какой небывалый прилив энергии ощутило его громадное население. Перечитывая статьи, я поражаюсь тому, сколько тщательных исследований, экспериментов и выкладок было произведено в этот день прежде, чем была отпечатана газета... Но это все между прочим. Когда я сижу, задумавшись над этим уже пожелтевшим листом, мне снова рисуется та странная картина, которая мелькнула в то утро в моем воображении, — картина того, как переживали эту Перемену в тех газетных редакциях, которые я вам описывал.

Каталитическая волна, вероятно, захватила редакции в самом разгаре спешной ночной работы, особенно горячей, ибо она была

вызвана как кометой, так и войной, и преимущественно войной. Весьма вероятно, что Перемена проникла в типографию незаметно, среди шума, крика и электрического света, обычной ночной обстановки; внезапно мелькнувшие зеленые молнии, может быть, даже остались там незамеченными, а спускавшиеся волны зеленого газа показались клочьями лондонского тумана. (В то время в Лондоне он был не редкостью даже летом.) Но наконец Перемена проникла и в типографию и сразила всех присутствующих.

Если что-нибудь и могло предупредить их, то разве только внезапная суматоха и шум на улицах и наступившая вслед за тем мертвая тишина... Никаких других признаков свершившегося они заметить не могли.

Они не успели даже остановить печатные машины: зеленый газ неожиданно обволок и одурманил всех, повалил на пол и усыпил. Мое воображение всегда разыгрывается, когда я представляю себе эту первую картину Перемены в городах. Меня удивляло, что во время происходившей Перемены машины продолжали работать, хотя я не могу как следует уяснить себе, почему; и тогда и теперь это кажется мне странным. Человек, по-видимому, так привык считать машины чем-то почти одушевленным, что его поражает их независимость, которую так наглядно показала Перемена. Электрические лампы, например, эти тусклые шары, окруженные зеленоватым сиянием, вероятно, еще некоторое время продолжали гореть; среди сгущавшегося мрака громадные машины грохотали, печатали, складывали, отбрасывали в сторону лист за листом этот сфабрикованный отчет о сражениях с четвертушкой столбца кричащих заголовков, и здание по-прежнему вздрагивало и вибрировало от их шума. И все это происходило несмотря на то, что никто из людей уже не управлял машинами. То там, то сям под сгущавшимся туманом неподвижно лежали скрюченные или растянувшиеся человеческие тела.

Поразительная картина, вероятно, представилась бы глазам того человека, который мог бы преодолеть действие газа и все это увидеть.

Когда у печатных машин истощился запас краски и бумаги, они все же продолжали впустую вертеться и грохотать среди всеобщего безмолвия. Машины замедлили ход, огни стали гореть тускло и потухать вследствие уменьшения энергии, доставляемой с

электрической станции. Кто мог бы теперь подробно рассказать о последовательности всех этих явлений?

А затем, как вы знаете, среди смолкшего людского шума зеленый газ рассеялся и исчез, через час его уже не было, и тогда, быть может, над землей пронесся легкий ветерок.

Все звуки жизни замерли, но остались другие звуки, которые торжественно раздавались среди всеобщего молчания. Равнодушному миру часы на башнях пробили два, потом три раза. Часы тикали и звонили повсюду, на всем оглохшем земном шаре...

А затем появился первый проблеск утренней зари, послышался первый шелест возрождения. Может быть, волоски электрических ламп в типографиях были еще накалены и машины продолжали слабо работать, когда скомканные кучи одежды снова превратились в людей, начавших шевелиться и изумленно раскрывать глаза. Печатники, конечно, были озадачены и смущены тем, что заснули. При первых лучах восходящего солнца «Новый Листок» пробудился, встал и с удивлением оглянулся на себя.

Часы на башнях пробили четыре. Печатники, измятые и всклокоченные, но чувствовавшие себя необычайно свежо и легко, стояли перед поврежденными машинами, удивляясь и спрашивая друг друга, что произошло; издатель читал свои вечерние заголовки и недоверчиво смеялся. Вообще в то утро было много безотчетного смеха. А на улицах кучера почтовых дилижансов гладили шеи и растирали колени своих, пробуждающихся лошадей...

Затем, не торопясь, разговаривая и удивляясь, печатники стали печатать газету.

Представьте себе этих еще не вполне очнувшихся, озадаченных людей, по инерции продолжавших свою прежнюю работу и старавшихся как можно лучше выполнить дело, которое вдруг стало казаться странным и ненужным. Они работали, переговариваясь и удивляясь, но с легким сердцем, то и дело останавливаясь, чтобы обсудить то, что они печатали. Газеты получены были в Ментоне с опозданием на пять дней.

Теперь позвольте рассказать вам о небольшом, но очень ярком моем воспоминании — о том, как некий весьма прозаический

человек, бакалейщик по имени Виггинс, пережил Перемену. Я услышал его историю в почтовой конторе в Ментоне, когда пришел туда в Первый день, спохватившись, что надо послать матери телеграмму. Это была одновременно бакалейная лавка, и когда я туда вошел, Виггинс разговаривал с хозяином этой лавки. Они были конкурентами, и Виггинс только что пересек улицу — его лавка помещалась напротив, — чтобы нарушить враждебное молчание, длившееся добрых двадцать лет. В их блестящих глазах, в покрасневшихся лицах, в более плавных движениях рук — во всем сквозила Перемена, охватившая все их существо.

— Наша ненависть друг к другу не принесла нам никакой пользы, — объяснял мне потом мистер Виггинс, рассказывая о чувствах, владевших ими во время разговора. — И покупателям нашим от этого тоже не было никакой пользы. Вот я и пришел сказать ему об этом. Не забудьте моих слов, молодой человек, если когда-нибудь вам случится иметь собственную лавку. На нас просто глупость какая-то нашла, и сейчас даже странно, что прежде мы этого не понимали. Да, это была не то чтобы злоба или зловерность, что ли, а больше глупость. Дурацкая зависть! Подумать только: два человека живут в двух шагах друг от друга, не разговаривают двадцать лет и все больше и больше ожесточаются один против другого!

— Просто понять не могу, как мы дошли до такого положения, мистер Виггинс, — сказал второй бакалейщик, по привычке развешивая чай в фунтовые пакетики. — Это было упрямство и греховная гордость. Да ведь мы и сами знали, что все это глупо.

Я молчал и наклеивал марку на свою телеграмму.

— Да вот, только на днях, — продолжал он, обращаясь ко мне, — я снизил цену на французские яйца и продавал их себе в убыток. А все почему? Потому что он выставил у себя в витрине огромное объявление: «Яйца — девять пенсов дюжина», — и я увидел это объявление, когда проходил мимо. И вот мой ответ, — он указал на объявление, где было написано: «Яйца — восемь пенсов за дюжину того сорта, что в других местах продается по девять». — Хлоп — и на целый пенни дешевле! Только чуть дороже своей цены, да и то не знаю. И к тому же... — Он перегнулся ко мне через прилавок и закончил выразительно: — Да к тому же и яйца-то не того сорта!

— Ну вот, кто в здравом уме и твердой памяти стал бы проделывать такие штуки? — вмешался Виггинс.

Я послал свою телеграмму, владелец лавки отправил ее, и, пока он этим занимался, я поговорил с Виггинсом. Он так же, как и я, ничего не знал о существовании Перемены, которая произошла со всем миром. Он сказал, что зеленые вспышки его встревожили и он так заволновался, что, посмотрев немного на небо из-за шторы на окне спальни, поспешно оделся и заставил одеться всю семью, чтобы быть готовыми встретить смерть. Он заставил их надеть праздничное платье. Потом они все вышли в сад, восхищаясь красотой и великолепием представшего им зрелища и в то же время испытывая все возрастающий благоговейный страх. Они были сектанты и притом весьма ревностные (в часы, свободные от торговли), и в эти последние, величественные минуты им казалось, что в конце концов наука все-таки ошибается, а фанатики правы. С зеленым газом на них снисходила все большая уверенность в этом, и они приготовились встретить своего бога...

Не забудьте, что это был самый заурядный человек, без пиджака и в клеенчатом фартуке, и рассказывал он свою историю с простонародным акцентом, который резал мое изысканное стратфордширское ухо, и рассказывал без всякой гордости, словно между прочим, а мне он казался почти героем.

Эти люди не бегали в растерянности взад и вперед, как многие другие. Эти четверо простых людей стояли позади своего дома, на дорожке сада, среди кустов крыжовника, и страх перед богом и судом его охватывал их стремительно, с неодолимой силой, — и они запели. Так стояли они — отец, мать и две дочери — и храбро, хоть, должно быть, и немного заунывно пели, как поют все сектанты:

В Сионе пребывая,
Душа моя ликует, —

а потом один за другим упали на землю и застыли.

Почтмейстер слышал, как они пели в сгущающейся тьме...

В изумлении слушал я, как этот раскрасневшийся человек со счастливыми глазами рассказывал мне историю своей недавней

смерти. Невозможно было поверить, что все произошло только за последние двенадцать часов. Все прошедшее теперь казалось ничтожным и далеким, а ведь всего двенадцать часов назад эти люди пели в темноте, взывая к своему богу. Я так и видел всю картину, словно крошечную, но очень четкую миниатюру в медальоне.

Впрочем, не один этот случай произвел на меня такое глубокое впечатление. Очень многое из того, что случилось перед столкновением кометы с Землей, кажется нам теперь уменьшенным в десятки раз. И у других людей — я узнал об этом позднее — тоже осталось ощущение, словно они как-то вдруг невероятно выросли. И маленький черный человечек, который в бешенстве гнался по всей Англии за Нетти и ее возлюбленным, наверно, был ростом со сказочного гнома, да и вся наша прежняя жизнь — всего лишь жалкая пьеска в тускло освещенном кукольном театре...

В воспоминаниях об этой Перемене мне всегда рисуется фигура моей матери.

Я помню, что однажды она рассказывала мне.

Ей не спалось в ту ночь. Звуки падающих звезд она принимала за выстрелы, так как в течение всего предшествующего дня в Клейтоне и Суотингли были волнения. И вот она встала с постели, чтобы посмотреть. Она боялась, что в волнениях буду замешан и я.

Но когда произошла Перемена, она не смотрела в окно.

— Когда я увидела, дорогой, как падают звезды, словно дождь, — рассказывала она, — и подумала, что ты попал под него, то решила, что не беда, если я помолюсь за тебя, мой дорогой, что ты не будешь на это сердиться.

И вот мне рисуется другая картина: зеленый газ спустился, потом рассеялся, а там у заплатанного одеяла моя старушка мать стоит на коленях, все еще сложив свои худые, скрюченные руки, и молится за меня.

За жидкими занавесками и шторами, за кривыми, потрескавшимися стеклами я вижу, как блекнут звезды над трубами, бледный свет зари ширится по небу и как ее свеча вспыхивает и гаснет...

Она тоже прошла со мной сквозь безмолвие — эта застывшая, согбенная фигура, коленопреклоненная в страстной мольбе, обращенной к тому, кто, как она думала, может защитить меня; тихая фигура в тихом мире, мчащемся сквозь пустоту межпланетного пространства.

С рассветом пробудилась вся земля. Я уже рассказывал, как проснулся и как, всему удивляясь, бродил по преображенному ячменному полю Шэпхембери. То же чувствовали и все вокруг. Вблизи меня Веррол и Нетти, совершенно забытые мною в то время, пробудились рядом и среди безмолвия и света прежде всех звуков слышали голоса друг друга. И жители поселка Бунгало, бежавшие и упавшие на морском берегу, тоже очнулись; спавшие крестьяне Ментона проснулись и приподнялись на своих постелях среди непривычной свежести и новизны; искаженные ужасом лица тех, кто молился в саду, разгладились, люди зашевелились среди цветов, робко коснулись друг друга, и каждому пришла в голову мысль о том, что он в раю. Моя мать очнулась на коленях, прижавшись к кровати, и встала с радостным сознанием, что молитва ее была услышана.

Солдаты проснулись и, столпившись между рядами запыленных тополей вдоль дороги к Аллармонту, болтали и распивали кофе с французскими стрелками, вызвавшими их из тщательно замаскированных траншей среди виноградников на холмах Бовилля. Стрелки были несколько смущены, так как погрузились в сон в напряженном ожидании ракеты, которая должна была послужить сигналом открыть огонь. Увидав и услышав движение внизу на дороге, где был неприятель, каждый из них почувствовал, что не может стрелять. По крайней мере один новобранец рассказал историю своего пробуждения и описал, каким странным показалось ему ружье, лежавшее рядом с ним в окопе, и как он взял его на колени, чтобы рассмотреть. Затем, когда ему яснее припомнилось, для чего служит это ружье, он бросил его, радуясь, что не совершил преступления, и вскочил, желая ближе взглянуть в людей, которых ему предстояло убить. «Славные ребята», — подумал он. Сигнальная ракета не взвилась. Внизу люди уже не строились в ряды, а сидели у обочины

дороги или стояли группами, разговаривая и обсуждая официальную версию причин войны, казавшуюся им теперь невероятной.

— К черту императора! — говорили они. — Что за нелепость! Мы ведь люди цивилизованные. Пусть поищут других дураков для такого дела... Где кофе?

Офицеры сами держали своих лошадей и разговаривали с солдатами запросто, не соблюдая никакой субординации. Несколько французов, выйдя из траншей, беззаботной походкой спускались с холма. Другие стояли в задумчивости, все еще держа ружья в руках. Этим последним рассматривали с любопытством. Слышались отрывочные замечания: «Стрелять в нас? Что за нелепость! Ведь это все почтенные французские граждане». В военной галерее, среди руин старого Нанси, есть картина, на которой очень хорошо изображена эта сцена при ярком утреннем освещении: вы видите старинную форму солдат, их странные головные уборы, перевязи, сапоги, патронташи, фляги для воды, мешки вроде туристических, которые эти люди таскали на спине, — словом, все их странное обмундирование. Солдаты приходили в сознание постепенно, один за другим. Мне иногда думается, что если бы обе враждебные армии пробудились мгновенно, то, может быть, они по привычке, в силу инерции возобновили бы битву. Но люди, пробудившиеся прежде других, стали с удивлением осматриваться и успели немного подумать...

Повсюду слышался смех и лились счастливые слезы.

Простые, обыкновенные люди вдруг обнаружили, что все вокруг ясно и светло, а сами они полны сил, способны на все то, что прежде казалось невозможным, и не способны делать то, от чего прежде не могли удержаться; увидели, что они счастливы, полны надежд, готовы трудиться на благо других и решительно отказались поверить, что произошла всего лишь перемена в их крови и материальной основе жизни. Они отказались от тела, с которым родились на свет, как некогда дикие обитатели верховьев Нила выбивали себе клыки потому, что они делали их похожими на зверей. Люди объявили, что на землю снизошел некий Дух, и не желали признавать никаких иных объяснений. И в известном смысле Дух действительно снизошел на землю, сразу же после Перемены началось Великое Возрождение,

последнее, самое всеобъемлющее, глубокое и самое непреходящее из всех приливов религиозного чувства, которые когда-либо носили это имя.

Но, в сущности, оно резко отличалось от всех бесчисленных предшествующих возрождений. Все прежние возрождения были этапами болезни, а это оказалось первым признаком выздоровления; оно было спокойнее, полнее, преображало разум, чувства и веру — весь внутренний мир человека. В старину и особенно в странах, где господствующей религией было протестантство, все, что касается религии, насаждалось вполне откровенно, а отсутствие исповеди и образованных пастырей делало взрывы религиозных чувств бурными и заразительными, в различных формах и масштабах духовное обновление было естественным проявлением религиозной жизни и происходило почти постоянно — порой жителей какой-нибудь деревушки вдруг одолевали угрызения совести, порой на молитвенном собрании в какой-нибудь миссии людьми овладевало необычайное волнение, порой буря охватывала целый континент, а порой с барабанным боем, флагами, афишами и автомобилями в города являлась целая организованная армия спасателей душ. Ни разу за всю мою жизнь я не принимал участия ни в чем подобном, ибо это меня ничуть не привлекало. Хоть нрав у меня всегда был горячий, я был настроен слишком критически (или, если хотите, скептически — ведь это, в сущности, одно и то же) и был слишком застенчив, чтобы кинуться в эти водовороты. Правда, несколько раз мы с Парлодом сидели где-то в задних рядах на молитвенных собраниях возрожденцев, посмеивались, но все же ощущали какую-то тревогу.

Я видел такие возрождения достаточно часто, чтобы понять их природу, и ничуть не удивился, когда узнал, что до пришествия кометы во всем мире, даже среди дикарей и людоедов, периодически происходили такие же или, во всяком случае, очень похожие перевороты. Мир задыхался, его лихорадило, и все это означало не что иное, как бессознательное сопротивление организма, чувствующего, как убывают его силы, закупориваются сосуды и что жить ему осталось недолго. Подобные возрождения неизменно следовали за периодами убогого и ограниченного существования. Люди повиновались своим низменным и животным порывам, и в конце концов в мире воцарилось невыносимое озлобление. Какое-либо

разочарование, разбитые надежды показывали людям — смутно, но достаточно ясно, чтобы разглядеть, — мрак и ничтожество их существования. Внезапное отвращение к бессмысленной ничтожности их извечного образа жизни, понимание его греховности, чувство недостойности всего окружающего, жажда чего-то понятного, устойчивого, чего-либо более значительного, более широкого общения между людьми, жажда новизны и отвращение к старым привычкам охватывали их. Души людей, способных на более благородные поступки, внезапно начинали рваться из рамок мелочных интересов и узких запретов; из этих душ вдруг слышался вопль: «Только не это, довольно, довольно!» Их потрясло страстное стремление выбраться из темницы собственного «я» — страсть, которую они не умели высказать, и, безысходная, немая, она изливалась одними слезами.

Я как-то видел — помню, это было в Клейтоне, в методистской молельне, — старого Паллета, кающегося торговца скобяными изделиями. Как сейчас вижу его прыщеватое жирное лицо, странно перекошенное в мерцающем свете газовых рожков. Он отправился к скамье, предназначенной для подобных спектаклей, и, брызгая слюной и слезами, покаялся в каком-то мелком распутстве — он был вдовцом, — и от горя он раскачивался, вздрагивая всем своим дряблым телом. Он излил скорбь и отвращение к содеянному в присутствии пятисот человек, от которых в обычное время утаивал каждую свою мысль и каждое намерение. И любопытно, что мы, двое юнцов, нисколько не смеялись над этой всхлипывающей карикатурой, ибо в то время все это было в порядке вещей; нам в голову не приходило даже улыбнуться. Мы сидели серьезные и сосредоточенно наблюдали все это, — разве что с некоторым удивлением.

Только потом, да и то сделав над собой усилие, мы посмеялись над этим...

Повторяю: возрождения прежних времен были всего лишь судорогами предсмертного удушья. Они очень ясно показывают, что накануне Перемены все люди уже понимали: в мире неблагополучно. Но эти частые озарения были чересчур мимолетны. Порывы растрчивались в беспорядочных криках, жестах и слезах, они были всего лишь мгновенными вспышками прозрения. Скудость и ограниченность бытия, низость во всех ее видах вызывали отвращение, но и оно тоже было ограниченным и низким. После

короткой вспышки искреннего чувства душа вновь погрязала в лицемерии. Пророки спорили, кто из них выше. Вне всякого сомнения, среди кающихся было немало соблазнительей и соблазненных и не один Анания шел домой обращенный, а возвратясь, прикидывался чудотворцем. И почти все новообращенные были нетерпеливы и ни в чем не знали меры, — презирали здравый смысл, были неразборчивы в средствах, восставали против всякой уравновешенности, опыта и знания. Раздувшись от избытка благодати, точно истончившиеся от старости, переполненные вином мехи, они знали, что лопнут при малейшем соприкосновении с суровой действительностью и трезвым советом.

Итак, прежние возрождения выдыхались, но Великое Возрождение не выдохлось — оно крепло и чуть ли не для всего христианского мира стало наконец непреходящим проявлением Перемены. Многие ничуть не сомневались, что это и есть второе пришествие, и не мне оспаривать обоснованность этого убеждения, — ведь оно почти всегда означало, что люди живут год от года более широкой и разносторонней жизнью.

Мне вспоминается еще одна мимолетная встреча. Случайное, бессвязное воспоминание, и тем не менее оно олицетворяет для меня Перемону. Это воспоминание о прекрасном лице женщины, которая с пылающими щеками и блестящими, полными слез глазами молча прошла мимо меня, стремясь к какой-то неведомой мне цели. Я встретил ее в день Перемены, когда, чувствуя укоры совести, шел в Ментон, чтобы телеграммой известить мать, что со мною все обстоит благополучно. Я не знаю, куда и откуда шла эта женщина; я никогда больше не встречал ее, и только ее лицо, сияющее новой и светлой решимостью, стоит передо мной, как живое...

Но таково же было в тот день состояние всего мира.

3. Заседание совета министров

Странным, необычайным было то заседание совета министров, на котором я присутствовал; оно происходило через два дня после Перемены на даче Мелмаунта, и на нем возникла мысль о конференции, где будет составлена конституция Всемирного Государства.

Я присутствовал на нем, потому что жил у Мелмаунта. У меня не было причин предпочитать одно место другому, а здесь, на даче, к которой его привязывала сломанная нога, не было, за исключением секретаря и слуги, никого, кто помог бы ему начать огромный труд, предстоявший всем правителям мира. Я знал стенографию, а так как на даче не было даже фонографа, то после того, как лодыжку ему забинтовали, я сел за стол и начал писать под его диктовку.

Для тогдашней медлительности, вполне, впрочем, уживавшейся с лихорадочной спешкой, характерно, что секретарь не знал стенографии и что там вообще не было телефона. С каждым сообщением или поручением приходилось идти за полмили в деревенскую почтовую контору, помещавшуюся в Ментоне в бакалейной лавке...

Так я сидел в комнате Мелмаунта — стол его пришлось отодвинуть в сторону — и записывал то, что требовалось. В то время мне казалось, что во всем мире нет комнаты лучше этой; я и теперь бы узнал яркую, веселую обивку того дивана, на котором, как раз напротив меня, лежал великий государственный деятель; узнал бы тонкую дорогую бумагу, красный сургуч и серебряный письменный прибор на столе, за которым я сидел. Я знаю теперь, что прежде мое присутствие в этой комнате показалось бы просто невероятным, так же как и раскрытая дверь и даже то, что секретарь Паркер мог свободно туда входить и выходить, когда хотел. В прежнее время заседание совета министров представляло собой тайное собрание, а вся общественная жизнь соткана была из тайн и секретов. В те дни каждый скрывал что-нибудь от всех остальных, так как все были недоверчивы, хитры, лукавы, лживы и притом большей частью без

всякого разумного основания. Эта таинственность исчезла из нашей жизни почти незаметно.

Я закрываю глаза и снова вижу этих людей, слышу их спокойные голоса. Я вижу их сначала порознь, при трезвом свете дня, а затем всех вместе, собравшихся вокруг затененных абажурами ламп, в таинственном полумраке. При этом мне очень ясно вспоминаются также крошки бисквитов, капля пролитой воды, которая сначала блестела, а затем впиталась в зеленое сукно стола...

Особенно хорошо помню я фигуру лорда Эдишема. Он, как личный друг Мелмаунта, прибыл на дачу за день до остальных. Позвольте мне описать вам этого человека, только этого одного из пятнадцати, затеявших последнюю войну. Он был самый младший член правительства, всего лишь лет сорока, обходительный и жизнерадостный. У него был четкий профиль, улыбающиеся глаза, бескровное, чисто выбритое лицо, приветливый, мягкий голос, тонкие губы и непринужденные, дружелюбные манеры. Он, казалось, был создан для своего места, обладая философским и бесстрастным складом ума. Перемена застала его за любимым развлечением, которому он неизменно предавался в свободное время, — за ужением рыбы, и я помню, как он говорил, что когда очнулся, то голова его находилась на расстоянии всего лишь одного шага от воды. В трудные минуты жизни лорд Эдишем неизменно отправлялся на субботу и воскресенье удить рыбу, чтобы сохранить ясность мысли, а когда трудных минут не было, то он удил потому, что ничто не мешало ему предаваться любимому занятию. Он явился с твердой решимостью совершенно отказаться, между прочим, и от ловли рыбы. Я был у Мелмаунта, когда он приехал, и слышал, как он это говорил, и мне было очевидно, что он пришел к тем же взглядам, как и мой хозяин, только более наивным путем. Я оставил их поговорить, но затем вернулся, чтобы записать те пространные телеграммы, которые они отправляли своим еще не прибывшим коллегам. Без сомнения. Перемена так же сильно подействовала на него, как и на Мелмаунта, но он сохранил свою привычку к изысканной вежливости, иронии, добродушным шуткам и выражал свое изменившееся отношение в вещам, свои новые чувства, как светский человек старого времени, очень сдержанно и словно стыдясь своей восторженности. Эти пятнадцать человек, управлявшие Британской империей, на редкость

не соответствовали моему о них представлению, так что я в свободные минуты внимательно за ними наблюдал. В то время политики и государственные деятели Англии составляли особый класс, теперь совершенно исчезнувший. В некоторых отношениях они не походили на государственных деятелей никакой другой страны, и мне кажется, ни одно из существующих их описаний не соответствует действительности... Вы, может быть, читаете старые книги? Если это так, то в «Холодном доме» Диккенса вы найдете их характеристику с примесью несколько враждебного преувеличения; грубой лестью и резкой насмешкой отличается характеристика, которую дает им Дизраэли, случайно игравший среди них главную роль, не понимая их и угождая двору; в повестях же миссис Хемфри Уорд изображены, быть может, несколько преувеличенно, но довольно верно, претензии этих людей, принадлежавших к числу несменяемых правителей Англии. Все эти книги еще существуют и доступны любознательным. Сочинения философа Бейджгота и поэта истории Маколея дают некоторое понятие о методе их мышления; писатель Теккерей раскрывает изнанку их социальной жизни; несколько иронических замечаний, а также личных воспоминаний и описаний, принадлежащих перу таких писателей, как, например, Сидней Лоу, можно найти в сборнике «Житница Двадцатого Столетия». Но все же ни одного точного портрета этих людей не сохранилось. Тогда они казались слишком близкими и слишком великими; теперь же их совсем перестали понимать.

Мы, простые люди прежнего времени, черпали свои представления о наших государственных деятелях почти исключительно из карикатур — самого могущественного оружия в политических распрях. Как и почти все при старом строе, эти карикатуры появились сами собой; они были неким паразитическим наростом на хилом теле демократических идеалов и стремлений, в конце концов только они одни и остались от этих идеалов. Карикатуры изображали не только личностей, руководивших нашей общественной жизнью, но и все основы той жизни, причем в смешном и пошлом виде, так что под конец почти совершенно уничтожили все серьезные и благородные чувства и побуждения по отношению к государству. Британское государство почти всегда изображалось в виде краснолицего, толстобрюхого фермера, гордящегося своим

кошельком. Соединенные Штаты изображались в виде хитрого мошенника с худощавым лицом, одетого в полосатые брюки и синий сюртук. Главные министры государства изображались в виде карманных воришек, прачек, клоунов, китов, ослов, слонов и невесть чего, а дела, касавшиеся благосостояния миллионов людей, изображались и обсуждались, как шутки в какой-нибудь идиотской пантомиме. Трагическая война в Южной Африке, принесящая неисчислимы бедствия многим тысячам семейств, полностью разорившая две страны и причинившая смерть и увечья пятидесяти тысячам людей, изображалась в виде комической ссоры между буйным и вспыльчивым чудаком, с моноклем в глазу и орхидеей в петлице, по имени Чемберлен, и «старым Крюгером», упрямым и очень хитрым стариком в чудовищно потасканной шляпе. Борьба велась попеременно, то с чисто звериной яростью, то затихая. Ловкачи-казнокрады нагревали руки на этой идиотской ссоре, а под маской этих дурачеств шествовала сама судьба, пока наконец балаганное шутовство не раскрылось и не обнаружилось страдания, голод, пожарища, разрушения и позор... Эти люди достигли славы и власти в таких условиях, и в тот день они казались мне актерами, внезапно отказавшимися играть смешные и глупые роли; они смыли грим с лица и перестали притворяться.

Даже в тех случаях, когда представление было не очень смешным и позорным, оно все же вводило в заблуждение. Когда я читаю, например, о Лейкоке, у меня возникает представление о незаурядном, деятельном, хоть и несколько взбалмошном уме и крепком мужественном теле человека, произносящего ту речь «Голиафа», которая так содействовала ускорению враждебных действий. Но на самом деле это был плешивый заяц с писклявым голосом, мучимый угрызениями совести, и ничуть вместе с тем не заслуживающий той презрительной характеристики, которую мне первоначально дал о нем Мелмаунт. Я сомневаюсь, чтобы широкая публика получила когда-нибудь надлежащее представление о том, какими были эти люди до Перемены. С каждым годом наш интерес и сочувствие к ним с невероятной быстротой уменьшаются. Это отчуждение не может, конечно, лишить их того значения, которое они имели в прошлом, но оно лишает впечатление, производимое их личностями, всякой реальности. Их история становится все более и более чуждой, словно

какая-то непонятная варварская драма, разыгрываемая на забытом языке. Все эти премьеры и президенты важно проходят перед нами в целом ряде карикатурных изображений, их рост нелепо преувеличен политическими котурнами, их лица прикрыты большими, крикливыми, нечеловеческими масками, их речи, переданные на шутовском уличном жаргоне, не имеющие ничего общего со здравым человеческим смыслом, режут и скрипят на страницах прессы. Вот она перед нами, эта галерея непонятных и выцветших фигур, теперь забытая, никому не нужная и не вызывающая никакого интереса. Сама ничтожность этих фигур ныне так же непонятна, как жестокость средневековой Венеции или богословие древней Византии. А между тем эти политические деятели управляли и оказывали влияние на жизнь почти четверти всего человечества, их шутовские драки потрясали весь мир, подчас, быть может, веселили его, волновали и причиняли неисчислимые бедствия.

Я видел этих людей, хоть и разбуженных Переменной, но все еще одетых в странные одежды былого времени и сохранивших его манеры и условности; они уже отрешились от своих взглядов, но им все же приходилось постоянно возвращаться к ним, как к исходной точке. Мой обновленный ум сумел в них разобраться, и мне думается, что я их действительно понял. Тут был Горрел-Браунинг, министр без портфеля, крупный круглолицый человек; тщеславие и сумасбродство, привычка к пространственным банальным речам несколько раз самым нелепым образом одерживали верх над его обновленным духом. Он боролся с этим и сам смеялся над собой. И вдруг он сказал просто и с глубоким чувством, и всем стало очень больно:

— Я был тщеславный, самодовольный и надменный старик. От меня здесь мало толку. Я весь отдался политике, интригам, и жизнь ушла от меня.

Потом он долго сидел молча.

Тут был и лорд-канцлер Кертон, человек несомненно умный; его бледное, тяжелое, гладко выбритое лицо вполне подошло бы для бюста кого-нибудь из цезарей. У него был негромкий, хорошо поставленный голос и самодовольная, порой слегка кривая улыбка, а в глазах мгновениями вспыхивала насмешливая искорка.

— Мы должны прощать, — сказал он. — Должны прощать даже самим себе.

Эти двое сидели во главе стола, так что я хорошо видел их лица. Маджетт, министр внутренних дел, человек небольшого роста, со сморщенными бровями и застывшей улыбкой на тонких, суховатых губах, прибыл вслед за Кертоном, он почти не участвовал в обсуждении, лишь изредка вставлял разумные замечания, а когда зажгли висячие электрические лампы, то в его глазных впадинах причудливо сгустились тени, и это придавало ему насмешливый вид иронизирующего беса. Рядом с ним восседал важный пэр, граф Ричовер, самодовольный, беспечный, игравший роль британско-римского патриция двадцатого столетия. Он занимался почти исключительно и одинаково усердно скачками, политикой и сочинением литературных очерков в духе своей роли.

— Мы не сделали ничего путного, — сказал он. — Что же касается меня, то я корчил из себя важную фигуру.

Он задумался, без сомнения, о тех долгих годах, когда он разыгрывал патриция, о прекрасных огромных дворцах, служивших рамкой для его особы, о скачках, прославивших его имя, о своих восторженных выступлениях, в которых он потчевал всех пустыми мечтами, о своих бесплодных олимпийских затеях...

— Я был глупцом, — заключил он кратко.

Все слушали его молча, сочувственно и почтительно.

Геркера, министра финансов, я мог рассмотреть только отчасти, из-за спины лорда Эдишема. Геркер принимал деятельное участие в прениях, сильно наклоняясь вперед, когда говорил. У него был низкий, хриплый голос, большой нос, грубый рот с отвислой, вывороченной нижней губой и глаза, окруженные сетью морщин...

Я хорошо запомнил этих людей и их слова. Может быть, я и записывал их тогда, но совершенно этого не помню. Где и как сидели Дигби Прайвет, Ривель, Маркгеймер и другие, я уже забыл. Мне запомнились лишь их голоса, замечания и реплики...

Получалось странное впечатление, что все эти люди, кроме, может быть, Геркера и Ривеля, не особенно желали той власти, которая находилась теперь в их руках, а достигнув ее, не стремились сделать ничего особенного. Они занимали места министров и до момента просветления не стыдились этого, но и недостойного шума из-за этого не поднимали. Восемь человек из числа этих пятнадцати прошли одну и ту же школу и получили одинаковое образование:

немного греческого, немного элементарной математики, кучее естествознание, немножко истории, затем чтение самых благонамеренных английских авторов семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков. Все эти восемь человек с молоком матери всосали одну и ту же тупую, джентльменскую манеру поведения, в сущности, ребяческую, лишенную всякой фантазии, всякой остроты и художественности. Под ее влиянием в трудные минуты жизни люди способны впадать в сентиментальность и считать великой добродетелью простое и вдобавок довольно неумелое выполнение своих обязанностей. Ни один из этих восьми человек не соприкасался с действительной жизнью, они жили словно в шорах: от няньки перешли к гувернантке, от гувернантки — в школу, из Итона в Оксфорд, а из Оксфорда перешли к рутине политической и общественной деятельности. Даже их пороки и недостатки соответствовали известным понятиям о хорошем тоне. Они, еще будучи в Итоне, тайком посещали скачки, а из Оксфорда делали вылазки в город, чтобы познакомиться с жизнью увеселительных заведений, и затем все исправились. Теперь они все внезапно увидели свою ограниченность.

— Что нам делать? — спросил Мелмаунт. — Мы пробудились, и мы в ответе за нашу Империю...

Я знаю, что из всего, что я могу рассказать о старом мире, этот факт покажется самым неправдоподобным, но я действительно видел это своими глазами, слышал своими ушами. Да, не подлежит ни малейшему сомнению: эта клика людей, составлявшая правительство целой пятой части всей обитаемой земли, управлявшая миллионом вооруженных людей, распорядившаяся невиданным флотом и правившая империей наций, языков, народов, все еще блистающей в наше великое время, — эта правящая клика не имела никакого единого мнения о том, что нужно делать с миром. Они составляли правительство в течение трех долгих лет, и до Перемены им никогда не приходила в голову мысль о том, что необходимо иметь об этом единое мнение. У них его совсем не было. Эта великая империя плыла как бы по течению, бесцельно ела, пила, спала, носила оружие и необычайно гордилась тем, что для чего-то существует на свете. Но у нее не было ни плана, ни цели; она ни к чему не стремилась. В таком же положении находились и другие великие империи, и их, как

плавучие мины, несло течением. Как ни нелеп должен вам теперь показаться британский совет министров, но он ничуть не был нелепей остальных правительственных органов: государственных советов, президентских комиссий и любого прочего из своих недалёковидных соперников...

Я помню, что в то время меня очень поразило отсутствие всяких споров и различия мнений относительно общих основ нашего теперешнего государства. Эти люди жили до тех пор среди условностей и заученных правил. Они были преданы своей партии, свято хранили все ее тайны и оставались верны британской короне; были крайне внимательны ко всякому старшинству и первенству и способны полностью подавлять в себе пагубные сомнения и пытливость и все отлично умели держать в узде порывы религиозного чувства. Они, казалось, были защищены какой-то незримой, но непроницаемой стеной от всех опрометчивых и опасных раздумий, от социалистических, республиканских и коммунистических теорий, следы которых можно найти в литературе последних лет перед появлением кометы. Но эта стена рухнула в самый момент пробуждения, зелёный газ как бы промыл их мозг, растворил и унес прочь сотни жестких перегородок и препятствий. Они как-то сразу признали и усвоили все то хорошее, что было в нашей пропаганде, которая в дырявых сапогах и с протертыми локтями так громко и тщетно стучалась прежде в двери их разума. Это казалось пробуждением от нелепого и гнетущего сна. Все они легко и естественно вступили на широкую, светлую дорогу логичного и разумного соглашения, по которой идем теперь мы и весь современный мир.

Я попытаюсь изложить перед вами те основные принципы, которые как бы испарились из их ума. На первом плане тут фигурирует древняя система «собственности», вызывавшая такую чудовищную путаницу в деле управления землей, на которой мы живем. Даже в прежние времена никто не считал эту систему справедливой или идеально удобной, но все принимали ее как должное. Предполагалось, будто общество, живущее на земле, совершенно порвало связь с землей, за исключением отдельных,

частных случаев, когда требовалось право на пользование проезжими дорогами или пастбищами. Вся остальная земля была самым фантастическим образом раздроблена на участки, на длинные полосы, квадраты или треугольники различной величины, начиная с сотни квадратных миль и кончая несколькими акрами; вся земля находилась в почти неограниченном распоряжении целого ряда управителей, носивших название землевладельцев. Эти управители владели землей почти так же, как мы теперь владеем своими шляпами; они ее покупали, продавали и разрезали на куски, как какой-нибудь сыр или окорок, они могли свободно истощать ее, оставлять в запустении или воздвигать на ней безобразные, хотя и очень дорогие здания. Если обществу нужно было построить дорогу или пустить трамвай, если нужно было где-то воздвигнуть город, или хоть небольшой поселок, или даже просто место для прогулок, то в таких случаях приходилось заключать кабальные договоры с каждым из самодержцев, владевших этой землей. Нигде на всем земном шаре ни один человек не мог шагу ступить без того, чтобы предварительно не уплатить аренды или оброчной подати одному из этих землевладельцев, в то время как те не были связаны практически никакими обязанностями по отношению к номинальным местным или общегосударственным властям той страны, в которой находились их владения.

Я знаю, что это похоже на бред сумасшедшего, но таким сумасшедшим было тогда все человечество. В старых странах Европы и Азии передача местной власти в руки земельных магнатов была вначале оправданна; но землевладельцы, в силу всеобщей развращенности тех времен, уклонялись от своих обязанностей и не выполняли их. А в так называемых новых странах — в Соединенных Штатах Америки, в Капской колонии, в Австралии и в Новой Зеландии — в течение нескольких десятилетий девятнадцатого века происходила бешеная раздача земли в вечное владение любого человека, пожелавшего присвоить ее. Были ли там уголь, золото или нефть, богатая, плодородная почва или удобное местоположение для гавани или города — все равно.

Одержимое навязчивой идеей, безрассудное правительство сзывало всех, кого придется, и множество низких, продажных и жестоких авантюристов сбегалось для того, чтобы основать новую земельную аристократию. После короткого века упований и гордости

население великой республики Соединенных Штатов Америки, на которую человечество возлагало столько надежд, превратилось большею частью в толпу безземельных бродяг, а землевладельцы и железнодорожные короли — владельцы пищи (ибо земля — это пища) и минеральных богатств — управляли всем, подавали ей, как нищей, милостыню в виде университетов и расточали свои богатства на такую бесполезную мишурную и безумную роскошь, какой никогда еще не видел мир. До Перемены никто из этих государственных деятелей не находил в этом ничего неестественного, теперь же все они увидели в этом сумасбродную и уже исчезнувшую иллюзию периода умопомешательства.

И точно так же, как земельный вопрос, решали люди сотни других вопросов о различных системах и установлениях, о всех сложных и запутанных сторонах человеческой жизни. Они говорили о торговле, и я только теперь впервые узнал, что может быть купля и продажа, при которых никто ничего не теряет; они говорили об организации промышленности, и она уже рисовалась мне под руководством людей, не ищущих в ней никаких личных и низменных выгод. Туман издавна привычных представлений, запутанных личных отношений и традиционных взглядов рассеялся на всех ступенях процесса общественных отношений людей. Многое из того, что скрывалось долгие века, раскрылось теперь с предельной ясностью и полнотой. Эти пробудившиеся люди смеялись здоровым, всеисцеляющим смехом, и вся эта путаница школ и колледжей, книг и традиций, весь хаос различных верований, полусимволических, полуформальных, вся сложная, расслаблявшая и сбивавшая с толку система внушений и намеков, среди которых юношество терялось в сомнениях, утрачивало гордость, честь и самоуважение, превратились теперь всего лишь в забавное воспоминание.

— Юношество нужно воспитывать сообща, — сказал Ричовер, — и говорить с ним вполне откровенно. До сих пор мы не столько воспитывали его, сколько скрывали от него жизненные явления и расставляли ему ловушки. А ведь как легко можно было все это сделать, и как легко это сделать теперь!

Как легко можно все это сделать!

Эти слова в моих воспоминаниях звучат как лейтмотив всего заседания совета министров, но когда они были сказаны, в них

слышалось огромное облегчение, сила, и звучали они молодо и уверенно. Да, все можно сделать легко, если есть искренность и смелость. Да, когда-то такие общеизвестные истины казались новостью, чудесным откровением.

При такой широте перспектива войны с немцами — с этой мифической храброй вооруженной дамой, которая называлась Германией, — сразу перестала занимать умы, оказалась всего лишь ничтожным, исчерпанным эпизодом. Мелмаунт уже заключил перемирие, и все министры, с удивлением вспомнив о войне, свели вопрос о мире к простой договоренности о некоторых частностях. Вся схема управления миром казалась им теперь непрочной и недолговечной в большом и малом, а всю невообразимую паутину церковных и светских округов, областей, муниципалитетов, графств, штатов, департаментов и наций с их властями, которые никак не могли договориться между собой и разделить сферу влияния; всю путаницу мелких интересов и претензий, в котором кишело, как блохи в грязной, старой одежде, множество ненасытных юристов, агентов, управителей, директоров и организаторов; всю сеть тяжб, барышничества, соперничества и все заплаты старого мира — все это они отбросили прочь.

— Что теперь нужно? — спросил Мелмаунт. — Вся эта неразбериха слишком прогнила, чтобы заниматься ею. Мы должны начать все сначала. Так начнем же.

«Мы должны начать все сначала». Эти простые, мудрые слова показались мне тогда необычайно смелыми и благородными. Когда Мелмаунт произнес их, я готов был отдать за него жизнь. На самом же деле в тот день все было так же туманно, как мужественно: нам еще совсем не ясны были будущие формы того, что мы теперь начинали. Ясно было только одно: старый строй должен неизбежно исчезнуть...

И вскоре — сперва, правда, с остановками, прихрамывая, — руководимое истинно братскими чувствами человечество приступило к созиданию нового мира. Эти годы, первые два десятилетия новой эпохи, были в своих ежедневных подробностях периодом радостного труда, и каждый видел главным образом свою долю работы и почти не охватывал целого. Только теперь, оглядываясь назад, когда прошло

столько лет, с высоты этой башни, я вижу живую последовательность всех перемен, вижу, как жестокая неразбериха былых времен прояснилась, упростилась, растворилась и исчезла. Где теперь тот старый мир? Где Лондон, этот мрачный город дыма и все застилающего мрака, наполненный грохотом и беспорядочным гулом, с лоснящейся от нефти, кишасей баржами рекой в грязных берегах, с мрачными башнями и почерневшими куполами, с печальными пустынями закоптелых домов, с тысячами истасканных проституток и миллионами всегда спешащих клерков? Даже листья на его деревьях были покрыты сальной копотью. Где чисто выбеленный Париж, с зеленой, аккуратно подстриженной листвой, с его изысканным вкусом, тонко организованным развратом и армиями рабочих, стучавших своими деревянными башмаками по мостам при сером холодном свете зари? Где теперь Нью-Йорк, этот великий город лязга металла и бешеной энергии, обуреваемый ветрами и конкуренцией, с его небоскребами, которые соперничают друг с другом и тянутся все выше к небу, безжалостно затеняя то, что осталось внизу? Где заповедные уголки тяжеловесной пышной роскоши, таившиеся в его дебрях? Где бесстыдный, драчливый, продажный порок заброшенных труб? Где все отгалкивающее безобразие его кипучей жизни? И где теперь Филадельфия с ее бесчисленными особняками? Где Чикаго с его нескончаемыми, обгаженными кровью бойнями и многоязычными мятежными трущобами?

Все эти обширные города уступили место другим и исчезли, как мои родные гончарни, мой черный край; наконец начали жить и те, кто был искалечен, голоден и изуродован, затерян в их лабиринтах, среди их забытых и заброшенных жилищ и их громадных, безжалостных, плохо придуманных промышленных машин. Все эти города, огромные и случайные, исчезли без следа. Нигде во всем мире вы не увидите в наши дни ни одной дымящей трубы, не услышите плача измученных непосильным трудом голодных детей. Не почувствуете мрачного отчаяния истрадавших женщин; шум зверских ссор и драк на улицах, все постыдные наслаждения и вся уродливость и грубость тщеславного богатства — все это исчезло вместе со старым строем нашей жизни. Оглядываясь на прошлое, я вижу, как при сноске домов в воздух, очищенный зеленым газом, поднимаются громадные клубы пыли; я снова переживаю Год

Палаток, Год Строительных Лесов, и, как торжество новой темы в музыкальной пьесе, возникают великие города Нового времени. Появляются Керлион и Армедон, города-близнецы нижней Англии, с извилистым летним городом Темзы между ними; изможденный, грязный Эдинбург умирает, чтобы восстать снова белым и высоким под сенью его древних гор; и Дублин, тоже преображенный, — роскошный, светлый и просторный, город веселого смеха и теплых сердец, он радостно блестит под снопами солнечных лучей, пронизывающих мягкий, теплый дождь. Я вижу большие города, которые построила Америка, вижу Золотой Город, с его вечно зреющими плодами на широких приветливых дорогах, и Город Тысяч Башен — город колокольного перезвона. Я снова вижу Город Театров и Церквей, Город Солнечной Бухты и новый город, который все еще называют Ута; вижу Мартенабар, этот огромный белый зимний город горных снегов, с куполом обсерватории и с величественным фасадом университета, раскинутого на утесе. Вижу и менее крупные города: церковные приходы, тихие места отдохновения, поселки, наполовину укрывшиеся в лесу, с речушками, журчащими по их улицам, деревни, обвитые узором кедровых аллей; деревни садов, роз, удивительных цветов и постоянного жужжания пчел. По всему миру свободно разгуливают наши дети, наши сыновья, которых старый мир обратил бы в жалких клерков и приказчиков, в изнуренных пахарей и в слуг; наши дочери, которые прежде были бы худосочными работницами, проститутками и потаскушками, измученными заботой матерями или иссохшими, озлобленными неудачницами. Теперь же все они, радостные и смелые, разгуливают по всему миру, учатся, живут, работают, счастливые и сияющие, добрые и свободные. Я представляю, как они, побродив в торжественной тишине римских развалин, среди пирамид Египта или по храмам Афин, появляются затем в счастливом Мейнингтоне или в Орбе с его дивной белой тонкой башней... Но кто может описать полноту и радость жизни, кто может перечислить все наши новые города, рассеянные по всему миру, города, воздвигнутые любящими руками для живых людей, города, вступая в которые люди проливают слезы радости: так они прекрасны, изящны и уютны...

Я, наверно, предвидел это будущее уже тогда, когда сидел там, позади дивана, где лежал Мелмаунт; но теперь я знаю, как все это

выполнено, и действительность не только оправдала мои грезы, но и превзошла их. Однако кое-что я все же предвидел, иначе почему бы мое сердце билось тогда так радостно?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«НОВЫЙ МИР»

1. Любовь после перемены

До сих пор я ничего не говорил о Нетти и совсем отошел от личной моей истории. Я пытался дать вам понятие о всеобщем перерождении, о влиянии ослепительно быстрого восхода, о том, как он все заливал своим светом и пробуждал к жизни. В воспоминаниях вся моя жизнь до Перемены рисуется мне каким-то темным коридором, лишь со стороны озаряемым иногда мимолетными слабыми проблесками красоты. Все же остальное представляет тупую боль и мрак. И вот внезапно стены, так мучительно давившие меня, рушатся и исчезают, и я, ослепленный, смущенный и счастливый, вступаю с этот сладостный, прекрасный мир, с его чудесным, непрерывным разнообразием, с его неисчерпаемыми возможностями и наслаждениями. Если бы я обладал музыкальным дарованием, то сочинил бы мелодию, которая разливалась бы по миру шире и шире, впитывая в себя по пути другие мелодии, и поднялась бы наконец до экстаза торжества и радости. Она звучала бы гордостью, надеждой возрождения в утреннем блеске, весельем неожиданного счастья, радостью с трудом, после мучительных усилий, достигнутой цели; она была бы подобна только что раскрывшемуся бутону и счастливой игре детства, подобна матери, плачущей от счастья со своим первенцем на руках, подобна городам, строящимся под звуки музыки, и большим кораблям, увешанным флагами, окропленным вином и скользящим среди ликующей толпы на свою первую встречу с морем. В этой музыке звучала бы Надежда, уверенная, сияющая и непобедимая, и все закончилось бы триумфальным шествием Надежды-победительницы, под звуки фанфар и со знаменами вступающей в широко раскрытые ворота мира.

И тут из этого лучезарного тумана радости появляется перерожденная Нетти.

Так она снова пришла ко мне, изумительная и непонятно почему забытая мной.

Она появляется, и с нею вместе — Веррол. Она появляется сегодня в моих воспоминаниях, как появилась тогда: вначале облик ее не совсем ясен, слегка искажен, словно и сейчас я вижу ее сквозь

потрескавшиеся и немного помутневшие стекла почтовой конторы и бакалейного магазина в Ментоне. Это случилось на второй день после Перемены, и я отправлял тогда телеграммы Мелмаунта относительно его переезда на Даунинг-стрит.

Сперва Нетти и Веррол представились мне маленькими, неправильными фигурками: стекло искривляло их и изменяло их жесты и походку. Я почувствовал, что мне следует помириться с ними, и с этим намерением я вышел из лавки, когда задребезжал дверной звонок.

Увидав меня, они остановились как вкопанные, и Веррол воскликнул так, словно он давно меня искал:

— Вот он!

А Нетти воскликнула:

— Вилли!

Я подошел к ним, и обновленный мир вдруг предстал передо мной в ином свете.

Я словно в первый раз увидел этих людей — так они были красивы, благородны и человечны. Казалось, будто я никогда еще как следует их не видел, и действительно, я всегда смотрел на них сквозь туман своей эгоистической страсти. Прежде они были частью всеобщего мрака и изменности старого мира, а теперь их коснулось всеобщее обновление. И вдруг Нетти — и моя любовь к ней, и моя страсть к ней снова ожили во мне. Перемена, расширившая сердца людей, не уничтожила любви, скорей она бесконечно расширила силу любви и облагородила ее. Нетти стала центром той мечты о переустройстве мира, которая всецело овладела мною и наполнила мой ум. Тонкая прядь волос упала ей на щеку, губы ее раскрылись в обычной милой улыбке, а глаза были полны удивления, приветливого внимания, бесстрашного и дружеского участия.

Я взял ее протянутую руку и изумился.

— Я хотел убить тебя, — сказал я, стараясь постичь все значение этого желания, которое казалось мне таким же нелепым, как желание пронзить кинжалом звезды или убить солнечный свет.

— Мы потом искали вас, — сказал Веррол, — и не могли найти... Мы слышали еще один выстрел.

Я перевел взгляд на него, и рука Нетти выпала из моей. Я вспомнил, как они упали вместе, и подумал, как сладостно было

пробуждение на этой заре рядом с Нетти. Мне представилось, как, держась за руки, промелькнули они передо мною в последний раз в сгущающемся тумане. Зеленые крылья Перемены распростерлись над их неверными шагами. Так они упали. И пробудились — любящие, вместе, в райское утро. Кто может сказать, как ярок был для них солнечный свет, как прекрасны цветы, как сладостно пение птиц?

Так думал я, но губы мои говорили иное:

— Пробудившись, я бросил мой револьвер.

От сильного смущения я говорил пустые слова.

— Я очень рад, что не убил вас, что вы здесь — невредимые и прекрасные...

— Послезавтра я возвращаюсь назад в Клейтон, — объяснял я. — Здесь я стенографировал для Мелмаунта, но теперь это почти кончено...

Оба они молчали, и хоть я и сам вдруг почувствовал, что теперь все это ничего не значит, я продолжал объяснять:

— Его перевозят на Даунинг-стрит, где у него есть целый штат, так что во мне не будет надобности... Вы, конечно, несколько удивлены, что я тут у Мелмаунта. Видите ли, я встретил его... случайно... тотчас же после моего пробуждения. Я нашел его на дороге, у него была сломана нога. Теперь мне нужно в Клейтон, чтобы помочь подготовить один доклад. Я очень рад, что снова вижу вас обоих, — тут голос мой слегка дрогнул, — и хочу с вами попрощаться и пожелать вам всего хорошего.

Это вполне соответствовало тому, что мелькнуло у меня в голове, когда я увидел их в окно бакалейной лавки, но совсем не выражало моих чувств и мыслей в ту минуту. Я продолжал говорить лишь для того, чтобы не было неловкого молчания. Но я чувствовал, как трудно мне будет расстаться с Нетти, и тон моих слов был не совсем искренен. Я замолчал, и мы с минуту глядели друг на друга, не говоря ни слова.

Всего больше открытий при этом свидании, мне думается, сделал я. Мне впервые стало ясно, как, в сущности, мало отразилась Перемена на моем характере. Я в этом мире чудес забыл на время свою любовь. Только и всего. Я ничего не утратил, ничего не лишился, мой характер остался таким же, только несравнимо выросло умение мыслить и владеть собой, и новые интересы захватили меня. Зеленый

газ исчез, омыв и отполировав наши умы, но мы остались самими собой, хоть и жили теперь в новой, лучшей атмосфере. Мои влечения не изменились; очарование Нетти только усилилось благодаря тому, что мое восприятие стало живее и острее. Стоило мне только ее увидеть и взглянуть в ее глаза, как мое влечение к ней мгновенно пробудилось, но уже не безумное и необузданное, а разумное.

Я испытывал то же самое, что и в былое время, когда после своих писем о социализме отправлялся в Чексхилл... Я выпустил ее руку. Нелепо было бы так расставаться. Мы все это чувствовали и поэтому испытывали неловкость, из которой вывел нас, кажется, Веррол, сказав, что в таком случае нам нужно завтра где-нибудь встретиться и проститься; получалось, таким образом, что встретились мы только для того, чтобы сговориться о новом свидании. Мы условились, что на следующий день сойдемся все трое в Ментонской гостинице и вместе пообедаем.

Да, пока нам больше нечего было сказать друг другу...

Мы расстались с чувством неловкости. Я пошел вниз по деревне, не оплядываясь, удивляясь себе и испытывая большое смущение. Я словно открыл что-то такое, что расстраивало все мои планы, и это меня огорчало. В первый раз я возвращался, занятый своими мыслями, а не увлеченный работой для Мелмаунта. Я не мог не думать о Нетти, и в голове моей теснились мысли о ней и о Верроле.

Разговор, который мы вели втроем на заре Новой эры, глубоко врезался мне в память. Он дышал какой-то свежестью и простотой; в нем сказывались молодость, радость жизни и восторженность. Мы с наивной робостью разбирали самые трудные вопросы, которые Перемена поставила на разрешение людей. Помнится, мы их плохо понимали. Весь старый строй человеческой жизни разрушился и исчез, не было ни узкого соперничества, ни жадности, ни мелочной вражды, ни завистливой отчужденности. Но что же будет теперь? Вот тот вопрос, который обсуждали и мы и еще миллионы и миллионы людей...

По какой-то странной случайности это последнее свидание с Нетти неразлучно соединено в моих воспоминаниях с хозяйкой Ментонской гостиницы.

Ментонская гостиница была одним из немногих уютных уголков прежнего времени. Это была весьма процветающая гостиница, где охотно останавливались приезжие из Шэпхембери: здесь можно было пообедать и выпить чаю. При ней была широкая зеленая лужайка для крикета, окруженная беседками из вьющихся растений, среди клумб жабрея, мальв, синих дельфиниумов и многих других высоких простых летних цветов. Позади стояли лавры и остролисты, за ними возвышалась крыша гостиницы, и над нею вырисовывалась на фоне золотистой зелени бука и синего неба вывеска: Георгий Победоносец на белом коне, убивающий дракона.

Поджидая Нетти и Веррола в этом месте, словно предназначенном для свиданий, я начал беседовать с хозяйкой, широкоплечей веснушчатой улыбчивой женщиной. Мы говорили о первом утре после Перемены. Матерински ласковая, говорливая рыжеволосая женщина дышала здоровьем и была вполне уверена, что теперь все в этом мире изменится к лучшему. Эта уверенность и что-то в ее голосе вызвали во мне глубокую симпатию к ней.

— Теперь мы пробудились, — говорила она, — и все то, что было глупо и бессмысленно, теперь будет исправлено. Почему? Да уж так, я в этом уверена!

Ее добрые голубые глаза глядели на меня очень дружелюбно. Ее губы, когда она молчала, складывались в приятную, легкую улыбку.

В нас все еще были сильны старые традиции; все английские гостиницы в те дни поражали посетителей своей дороговизной, и я спросил ее, что будет стоить наш завтрак.

— Да ничего не платите, — сказала она, — или уплатите, сколько хотите. Эти дни ведь у нас праздник. Я думаю, как бы мы ни устроили наши дела, нам все же придется и платить и брать плату с посетителей, но я уверена, что мы не будем впредь волноваться из-за этих пустяков. К тому же я лично никогда особенно не интересовалась деньгами. Нередко я думала о том, как нужно поступать и что мне сделать, чтобы все уходило от меня довольные. О деньгах я не забочусь. Да, многое изменится, в этом нет сомнений, но я останусь здесь и буду делать счастливыми тех людей, которые проходят по нашим дорогам. Местечко здесь уютное, когда люди веселы; нехорошо только, когда они завистливы, скупы, утомлены, или объедаются не в меру, или когда напиваются и начинают буйнить. Много счастливых

лиц видела я здесь, и многие приходят ко мне, как старые друзья, но теперь будет еще лучше.

Она улыбалась, эта добродушная женщина, преисполненная радости, жизни и надежды.

— Я поджарю для вас и для ваших друзей такую яичницу, — сказал она, — какую они найдут только разве на небе. Я чувствую, что готовлю в эти дни так, как никогда прежде, и сама радуюсь.

Как раз в эту минуту Нетти и Веррол показались под простой аркой из пунцовых роз, украшавшей вход в гостиницу. Нетти была в белом платье и широкополой шляпе, а Веррол в сером костюме.

— Вот мои друзья, — сказал я. Но, несмотря на магическое действие Перемены, что-то затемнило мое солнечное настроение, как тень от облака.

— Красивая парочка, — заметила хозяйка, когда они пересекали бархатистую зеленую лужайку.

Они действительно составляли красивую пару, но это мало радовало меня... скорей, напротив, огорчало.

Эта старая газета, этот первый после Перемены номер «Нового Листка», эти рассыпавшиеся куски — последняя реликвия исчезнувшего века. При легком прикосновении к этому листку я мысленно переносюсь через пропасть в пятьдесят лет и снова вижу, как мы втроем сидим в беседке за столом, вдыхаю аромат шиповника, которым был напоен воздух, и во время продолжительных наших пауз слышу громкое жужжание пчел над гелиотропами.

Это было на заре нового времени, а мы все трое еще несли на себе родимые пятна и одежды старого мира.

Я вижу себя, смуглого, плохо одетого юношу, с синевато-желтым синяком под челюстью от удара, нанесенного мне лордом Редкаром. Наискось от меня сидит Веррол; он выше меня ростом, лучше одет, светел и спокоен; он на два года старше меня, но не кажется старше, так как у него более светлая кожа. А напротив меня сидит Нетти и внимательно смотрит на меня своими темными глазами. Никогда еще я не видал ее такой серьезной и красивой. На ней все то же белое платье, в котором я видел ее там, в парке, а на нежной шее все та же нитка жемчуга и маленький золотой медальон. Она сама все та же и

вместе с тем так сильно изменилась; тогда она была девушкой, теперь стала женщиной, и за это же время я испытал такие муки и совершилась Перемена! На одном конце стола, за которым мы сидим, постлана безукоризненно чистая скатерть и подан вкусный, просто сервированный обед. Позади меня ярко зеленеют сады и огороды, освещенные щедрым солнцем. Я вижу все это. Я снова как бы сижу там и неловко ем, а на столе лежит газета, и Веррол говорит о Перемене.

— Вы не можете себе представить, — говорит он своим обычным, уверенным и приятным голосом, — как много эта Перемена изменила во мне. Я все еще не могу прийти в себя. Люди моего склада так странно созданы; прежде я этого не подозревал.

Он через стол наклонился ко мне, видимо, желая, чтобы я вполне его понял.

— Я чувствую себя как некое существо, вынутое из его скорлупы, — очень мягким и новым. Меня приучили известным образом одеваться, известным образом думать, известным образом жить; я вижу теперь, что все или очень многое из всего этого было ложной и узкой системой классовых традиций. Мы терпимо относились друг к другу, но были акулами для всего остального человечества. Да, хороши джентльмены, нечего сказать! Просто непостижимо...

Я помню, каким тоном он это сказал, вижу, как он поднял при этом брови и мягко улыбнулся.

Он замолчал. Ему хотелось высказать это, хотя мы собирались переговорить о другом.

Я слегка наклонился вперед и, сжав бокал в руке, спросил:

— Вы собираетесь пожениться?

Они посмотрели друг на друга.

Нетти тихо сказала:

— Уходя из дома, я не думала о замужестве.

— Знаю, — ответил я, с усилием поднял глаза и встретился со взглядом Веррола.

— Я думаю, — ответил он мне, — что мы навсегда соединили нашу судьбу... Но тогда нас охватило какое-то безумие.

Я кивнул головой и заметил:

— Все страсти — безумие, — но тут же усомнился в справедливости своих слов.

— Почему мы это сделали? — спросил он внезапно, обращаясь к ней.

Она сидела, опустив глаза и опершись подбородком о переплетенные пальцы.

— Так уж пришлось, — проговорила она по старой привычке уклончиво.

И тут она вдруг как бы раскрылась, умоляюще взглянула мне в глаза и заговорила с внезапной искренностью.

— Вилли, — сказала она, — я не хотела сделать тебе больно, право, не хотела. Я постоянно думала о тебе и об отце, о матери, только это ничего не меняло, не заставляло меня свернуть с избранного пути.

— Избранного! — сказал я.

— Что-то меня захватило, — продолжала она, — ведь в этом так трудно разобраться...

Она горестно покачала головой.

Веррол молча барабанил пальцами по столу и затем снова обратился ко мне.

— Что-то шептало мне: «Бери ее». Все шептало. Я чувствовал бешеную страсть. Не знаю, как это случилось, но все, повторяю, или помогло этому, или не имело для нас никакого значения. Вы...

— Продолжайте, — заметил я.

— Когда я узнал про вас...

Я взглянул на Нетти.

— Ты никогда не говорила ему обо мне?

И при этом вопросе я почувствовал, как что-то старое кольнуло меня в сердце.

Веррол ответил за нее:

— Нет, но я догадался. Я видел вас в ту ночь, все мои мысли и чувства были обострены. Я понял, что это были вы.

— Вы восторжествовали надо мной... Если бы я мог, то восторжествовал бы над вами, — сказал я. — Но продолжайте.

— Все словно сговорилось окружить, нашу любовь ореолом прекрасного. В ней была безотчетная душевная щедрость. Она означала катастрофу, она могла бы погубить ту политическую и

деловую карьеру, к которой я готовился с детства, которая была для меня вопросом чести. Но от этого любовь только стала еще притягательнее. Она сулила Нетти позор, гибель, и это еще более усиливало соблазн. Ни один здравомыслящий или порядочный человек не одобрил бы наш поступок, но в этом-то и был самый сильный соблазн. Я воспользовался всеми преимуществами своего положения. Это было низко, но в то время это не имело никакого значения.

— Да, — заметил я, — все верно. И та же мрачная волна, которая подхватила вас, влекла и меня в погоню за вами с револьвером в руке и с безумной ненавистью в сердце. А ты, Нетти? Какое слово соблазнило тебя? «Пожертвуй собою»? «Бросайся в пропасть»?

Руки Нетти упали на стол.

— Я сама не знаю, что это было, — заговорила она от всего сердца. — Девушки не приучены так разбираться в своих мыслях и чувствах, как мужчины. Я и теперь не могу разобраться. Тут было множество мелких, подленьких причин, бравших верх над долгом. Подлые причины. Мне, например, нравилось, как он хорошо одевается. — Она улыбнулась, сверкнула улыбкой в сторону Веррола. — Я мечтала, например, что буду, как леди, жить в отеле, иметь прислугу, дворецких и прочее. Это отвратительная правда, Вилли. Да, меня пленяли такие гадкие вещи и даже еще худшие.

Я все еще вижу, как она каялась передо мною, высказываясь с откровенностью, такой же яркой и поразительной, как и заря первого великого утра.

— Не все было так мелко, — тихо заметил я после молчания.

— Нет, — сказали они в один голос.

— Но женщина более разборчива, чем мужчина, — добавила Нетти. — Мне все представлялось в виде маленьких, ярких картинок. Знаешь ли ты, что... в этой твоей куртке есть что-то... Ты не рассердишься, если я скажу? Нет, теперь, конечно, не рассердишься!

Я покачал головой.

— Нет.

Она говорила очень проникновенно, спокойно и серьезно.

— Сукно на твоей куртке не чисто шерстяное, — сказала она. — Я знаю, как ужасно быть кругом опутанной такими мелочами, но так оно и было. В прежнее время я ни за что на свете не призналась бы в

этом. И я ненавидела Клейтон и всю его грязь. А кухня! Эта ужасная кухня твоей матери! К тому же я боялась тебя, Вилли. Я не понимала тебя, а его я понимала. Теперь другое дело, но тогда я знала, чего он хочет. И к тому же его голос...

— Да, — согласился я, ничуть не задетый этим открытием. — Да, Веррол, у вас хороший голос. Странно, что я никогда прежде этого не замечал.

Мы помолчали немного, всматриваясь в свои обнаженные души.

— Боже мой! — воскликнул я. — Каким жалким лоцманом был наш ничтожный рассудок в бурных волнах наших инстинктов и невысказанных желаний, в сумятице ощущений и чувств — совсем как... как куры в клетке, смытые за борт и бестолково кудахтающие в морских просторах.

Веррол одобрительно улыбнулся этому сравнению и, желая продолжить его, сказал:

— Неделю назад мы цеплялись за наши клетки и то вздымались с ними на гребень волн, то опускались. Все это было так неделю назад. А теперь?

— Теперь, — сказал я, — ветер утих. Буря жизни миновала, и каждая такая клетка каким-то чудом превратилась в корабль, который справится с ветром и морем.

— Что же нам делать? — спросил Веррол.

Нетти вынула темно-красную гвоздику из букета, стоявшего в вазе перед нами, и принялась осторожными движениями разворачивать лепестки и выдергивать их один за другим. Я помню, что она занималась этим во время всего нашего разговора. Она укладывала эти оборванные, темно-красные лепестки в длинный ряд и снова перекладывала их то так, то сяк. Когда наконец я остался один с этими лепестками, узор все еще не был закончен.

— Что ж, — сказал я, — дело кажется мне совсем простым. Вы оба, — я запнулся, — любите друг друга.

Я замолчал; они тоже молчали, задумавшись.

— Вы принадлежите друг другу. Я думал об этом, обдумывал с разных точек зрения. Я желал невозможного... Я вел себя дурно. Я не имел никакого права гнаться за вами.

Обратившись к Верролу, я спросил:

— Вы считаете себя связанным с ней?

Он утвердительно кивнул головой.

— И никакие социальные влияния, никакие изменения теперешней благородной и ясной атмосферы — это ведь может случиться — не заставят вас вернуться к прежнему?..

Он ответил, глядя мне прямо в глаза:

— Нет, Ледфорд, нет.

— Я не знал вас, — сказал я, — и был о вас совсем другого мнения.

— Да, я был другим человеком, — возразил он.

— Теперь все изменилось, — заметил я.

И умолк, потеряв нить разговора.

— А я, — заговорил я снова, мельком взглянув на опущенную голову Нетти, а затем склонился вперед, внимательно рассматривая лепестки, — так как я люблю Нетти и всегда буду любить ее и так как любовь моя полна страсти и мне невыносимо видеть, что она ваша, и всецело ваша, — мне остается только уйти. Вы должны избегать меня, а я вас... Мы должны жить в разных концах земли. Я должен собрать всю силу воли и отдаться другим интересам. В конце концов страсть — еще не все в жизни! Может быть, она все в жизни для животного и дикаря, но не для нас. Мы должны расстаться, и я должен забыть. Иного выхода нет.

Я не поднимал глаз, а продолжал внимательно смотреть на эти лепестки, так неизгладимо запечатлевшиеся в моей памяти, и напряженно ждал; но я чувствовал согласие в позе Веррола. Первой молчание прервала Нетти.

— Но... — начала она и запнулась.

Я подождал продолжения, потом вздохнул, откинулся на спинку стула и, улыбаясь, заметил:

— Это очень просто теперь, когда мы обладаем хладнокровием.

— Но разве это просто? — спросила Нетти и сразу зачеркнула этим все, что я говорил.

Я поднял глаза и увидел, что она смотрит на Веррола.

— Понимаешь, — сказала она, — Вилли мне нравится. Трудно рассказать, что чувствуешь... но я не хочу, чтобы он ушел от нас вот так.

— Но тогда, — возразил Веррол, — как же...

— Нет, — прервала его Нетти и смешала все аккуратно разложенные лепестки в одну кучку. Потом принялась очень быстро раскладывать их в длинный прямой ряд.

— Это так трудно... Я никогда в жизни не пыталась до конца разобраться в самой себе. Но я знаю одно: я дурно поступила с Вилли. Он... он полагался на меня. Знаю, что полагался. Я была его надеждой. Я была той обещанной радостью... которая должна была увенчать его жизнь, была самым лучшим, лучшим из всего, что он до сих пор имел. Он втайне гордился мною... Он жил надеждой. Когда мы с тобой начали встречаться... я знала, что это было почти предательство.

— Предательство? — сказал я. — Ты только ощупью искала свою дорогу, а это было не так-то легко и просто.

— Ты считал это изменой.

— Не знаю.

— Во всяком случае, я считала это изменой и отчасти считаю и теперь. Я была нужна тебе.

Я слабо запротестовал, потом задумался.

— Даже когда он пытался убить нас, — говорила она своему возлюбленному, — я втайне сочувствовала ему. Я вполне понимаю все те ужасные чувства, это унижение... унижение, через которое он прошел.

— Да, — заметил я, — но я все же не вижу...

— И я не вижу. Я только стараюсь увидеть. Но знаешь, Вилли, ты все же часть моей жизни. Я знаю тебя дольше, чем Эдуарда. Я знаю тебя лучше, я знаю тебя всем сердцем. Ты думаешь, что я никогда тебя не понимала, не понимала ничего, что ты мне говорил, твоих стремлений и прочего. Нет, я понимала, понимала больше, чем мне это казалось в то время. Теперь... теперь мне это ясно. То, что мне нужно было понять в тебе, было глубже того, что мне дал Эдуард. Теперь я знаю... Ты часть моей жизни, и я не хочу лишиться ее теперь, когда я это поняла... не хочу потерять тебя.

— Но ты любишь Веррола.

— Любовь — такая непостижимая вещь... И разве есть одна любовь? Разве только одна? — Она повернулась к Верролу и продолжала: — Я знаю, что люблю тебя. Я могу теперь говорить об

этом. До сегодняшнего утра я не могла бы. Кажется, будто мой ум вырвался из удушливой тюрьмы. Но что такое эта моя любовь к тебе? Это множество влечений... к различным твоим свойствам... твой взгляд... твои манеры... Это все ощущения... ощущение чего-то красивого, нежного... Лесть тоже, ласковые слова, и мои надежды, и самообман. И все это свивалось в клубок и захватывало меня, ибо во мне пробуждались сокровенные, неосознанные чувства и влечения, и тогда мне казалось, будто этого довольно. Но это было далеко не все — как бы мне пояснить? Это все равно, что светлая лампа с очень толстым абажуром и все остальное в комнате скрыто, но вы снимаете абажур — и вот все остальное тоже видно — все тот же свет, только теперь он освещает...

Она остановилась, и мы некоторое время молчали, а Нетти быстрыми движениями руки составила из лепестков пирамиду.

Образные выражения всегда отвлекают меня, и в уме моем, словно припев, звучали ее слова: «Все тот же свет»...

— Ни одна женщина не верит этому, — вдруг объявила Нетти.

— Чему?..

— Ни одна женщина никогда этому не верила.

— Ты должна выбрать себе одного, — сказал Веррол, понявший ее прежде меня.

— Нас для этого воспитывают. Об этом нам говорят и пишут в романах. Люди так и смотрят, так и ведут себя, чтобы внушить нам: завтра придет тот, единственный. Он станет для тебя всем, а все остальные ничем. Оставь все остальное, живи только для него.

— И мужчинам твердят то же самое о их будущей жене, — сказал Веррол.

— Только мужчины этому не верят. У них более самостоятельный ум... Мужчины никогда не ведут себя так, будто они этому верят... Не обязательно быть старухой, чтобы это знать. Они не так созданы, чтобы этому верить. И женщины тоже не так созданы, но их воспитывают по шаблону, приучают скрывать свои тайные мысли чуть ли даже не от самих себя.

— Да, это верно, — заметил я.

— Ты их, во всяком случае, не скрываешь, — сказал Веррол.

— Теперь нет, теперь я говорю все, что думаю... Благодаря комете. И Вилли. И тому, что я, в сущности, никогда не верила всему

этому, хотя и думала, что верю. Глупо отстранить от себя Вилли, принизить, оттолкнуть и никогда его больше не видеть, когда мне он так нравится. Жестоко, преступно, безобразно торжествовать над ним, точно над каким-то побежденным врагом, и думать, что я при этом могу быть спокойна и счастлива. Закон жизни, предписывающий подобные поступки, бессмыслен. Это эгоистично и жестоко. Я... — В ее голосе послышалось рыдание. — Вилли, я не хочу!

Я сидел и в мрачном раздумье следил за быстрыми движениями ее пальцев.

— Да, это жестоко, — начал я наконец, стараясь говорить спокойно и рассудительно. — И все-таки это в порядке вещей... Да... Видишь ли, Нетти, мы все еще наполовину животные. Мы, мужчины, как ты сама сказала, обладаем более самостоятельным умом, чем женщины. Комета этого не изменила, а только помогла нам это понять. Мы появились на свет в результате бурного слияния слепых, неразумных сил... Я возвращаюсь к тому, что сейчас сказал: мы увидели наш жалкий разум, нашу жажду лучшей жизни, самих себя плывущими по течению страстей, инстинктов, предрассудков и полуживотной тупости... Вот мы и цепляемся за все, точно люди, проснувшиеся на плоту.

— Ну, вот мы и вернулись к моему вопросу, — мягко вставил Веррол. — Что же нам делать?

— Расстаться, — ответил я, — потому что наши тела, Нетти, не бесплотны. Они остались теми же; я где-то читал, что наше тело носит в себе доказательство нашего происхождения от весьма низких предков; насколько мне помнится, строение нашего внутреннего уха и зубов унаследовано нами от рыб; у нас имеются кости, намекающие на наше родство с сумчатыми животными, и сотни признаков обезьяны. Даже твое прекрасное тело, Нетти, носит эти следы... Нет, Нетти, выслушай меня до конца. — Я нетерпеливо наклонился вперед. — Наши ощущения, страсти, желания, их сущность, как и сущность нашего тела, — чисто животные, и в них соперничество слито с желанием. Ты исходишь теперь от разума и обращаешься к нашему разуму, и это возможно, когда человек потрудился физически, насытился и теперь ничего не делает; но, возвращаясь к жизни, мы возвращаемся к материи.

— Да-а, — протянула слушавшая внимательно Нетти, — но мы приобрели над нею власть.

— Только в какой-то мере повинуюсь ей. Волшебных средств для этого нет; чтобы покорить материю, нужно разъединить врага и взять в союзники ту же материю. При помощи веры человек может сдвинуть горы в наше время, это правда. Он может сказать горе: «Сдвинься с места и ввергнись в море», — но он способен на это только потому, что помогает и доверяет своему брату-человеку, потому, что обладает достаточным знанием, умом, терпением и смелостью, чтобы привлечь на свою сторону железо, сталь, динамит, краны, грузовики, общественные средства. Мне не победить мою страсть к тебе, если я буду постоянно видеть тебя и только разжигать эту страсть. Я должен удалиться, чтобы не видеть тебя, занять себя другими интересами, отдаться борьбе, участвовать в общественной деятельности...

— И забыть? — спросила Нетти.

— Не забыть, — отвечал я, — но перестать вечно думать о тебе.

Она несколько секунд молчала.

— Нет, — проговорила она наконец, уничтожив последнюю фигуру, сложенную из лепестков, и взглянула на Веррола, который в эту минуту пошевелился и облокотился на стол. До этого он сидел, наклонившись вперед, и пальцы его рук были сцеплены.

— Знаете ли, — сказал Веррол, — я об этом почти не думал. В школе, в университете об этом не думают. Там, наоборот, мешают думать. Теперь все это, конечно, изменят. Мы, по-видимому, — он задумался, — по-видимому, касаемся вопросов, с которыми сталкивались, когда читали древних, когда пытались толковать, например, Платона, но никому и в голову не приходило перевести их с мертвого языка на язык живой жизни...

Он умолк и затем, как бы отвечая на какой-то свой невысказанный вопрос, продолжал:

— Нет. Я согласен с Ледфордом, Нетти, что люди по самой Природе своей исключительны. Разум свободен и общается со всем миром, но женщина может принадлежать только одному мужчине. Все соперники должны быть устранены. Мы созданы для борьбы за существование, борьба — наша сущность; все живущее борется за существование, а значит, и самцы борются из-за самок и по

отношению к каждой женщине один одерживает победу. Остальные же удаляются.

— Как животные, — заметила Нетти.

— Да...

— В жизни есть и многое другое, — сказал я, — но в общем это так.

— Но ведь вы не боретесь! — воскликнула Нетти. — Все это изменилось потому, что у людей есть разум.

— Ты должна выбрать, — сказал я.

— А если я предпочитаю не выбирать?

— Ты — уже выбрала.

— Ох, — воскликнула она не без досады. — Почему мы, женщины, всегда рабыни пола? Неужели же наступивший великий век Разума и Света ничего в этом не изменит? И мужчины тоже. Я нахожу все это нелепым. Я не считаю такое решение вопроса правильным, это только дурные привычки прошлого, которое... Инстинкты! Но ведь вы не позволяете вашим инстинктам руководить вами во множестве других дел. Вот я теперь между вами. Вот Эдуард. Я люблю его потому, что он веселый и приятный, и потому, что... ну, просто потому, что он мне нравится. И вот Вилли, частица моего я, моя тайная любовь, мой старый друг. Почему мне нельзя иметь обоих? Разве я не разумное существо, что вы всегда должны думать обо мне только как о женщине? Всегда видеть во мне только предмет борьбы? — Она на мгновение замолчала и вдруг обратилась ко мне с неожиданным предложением: — Останемся вместе, все трое. Не будем расставаться. Разлука — это ненависть, Вилли. Почему бы нам не остаться друзьями? Почему бы не встречаться, не разговаривать?

— Разговаривать? — сказал я. — Разговаривать о таких, например, вещах, как сейчас?

Я взглянул через стол на Веррола, и наши взоры встретились; мы старались взаимно проникнуть в душу друг друга. Это была честная, прямая проверка, откровенная борьба.

— Нет, — решил я. — Между нами это невозможно.

— Никогда? — спросила Нетти.

— Никогда, — убежденно ответил я.

Я сделал над собою усилие.

— В таких вопросах мы не можем бороться с законом и обычаями, — сказал я. — Подобные страсти слишком тесно связаны с нашим сокровенным существом. Хирургическая операция в этих случаях лучше, чем медленно изнуряющий недуг. Моя любовь требует от Нетти всего. Любовь мужчины не преклонение, а требование, вызов... К тому же, — тут я вставил самый веский довод, — я теперь отдался новой возлюбленной, и теперь я изменяю тебе, Нетти. За тобой и выше тебя стоит будущий Город Мира, и я участвую в его строительстве. Дорогая моя, ты только счастье, а он... он зовет меня! И даже если я только кровью своей окроплю камни, положенные в его основание, — я почти надеюсь, Нетти, что такова и будет моя доля, — я все равно хочу участвовать в строительстве этого города.

Я старался говорить как можно более убедительно.

— Никакие сердечные бури, — прибавил я несколько неловко, — не должны отвлекать меня от этого.

Минута молчания.

— В таком случае мы должны расстаться, — сказала Нетти. Глаза у нее были такие, будто ей дали пощечину.

Я утвердительно кивнул головой.

Снова наступило молчание; потом я встал. Мы все трое встали и расстались почти враждебно, без слов. Я остался в беседке один.

Я даже не посмотрел им вслед. Помню только, что почувствовал ужасную пустоту и одиночество. Я снова сел и глубоко задумался.

Вдруг я поднял голову. Нетти вернулась и стояла передо мной, пристально глядя на меня.

— После нашего разговора я все время думаю, — сказала она. — Эдуард позволил мне прийти к тебе одной. И я чувствую, что одна я, может быть, лучше смогу поговорить с тобой.

Я ничего не ответил, и это ее смутило.

— Я не думаю, что мы должны расстаться, — сказала она. — Нет, я не думаю, что нам нужно расстаться, — повторила она. — Люди живут по-разному. Не знаю, поймешь ли ты меня, Вилли. Ведь так трудно высказать то, что чувствуешь. Но мне нужно это высказать. И если нам предстоит расстаться навсегда, я хочу, чтобы было сказано все. Раньше у меня были женские инстинкты и женское воспитание, которые заставляют женщину скрывать свои чувства. Но... Эдуард не все для меня... Пойми, Эдуард не все для меня! Мне хочется как

можно яснее высказать тебе это. Одна — я еще не человек. Во всяком случае, ты частица моего я, и я не в силах от тебя отказаться. К тому же я не понимаю, зачем мне от тебя отказываться, Между нами существует кровная связь. Мы вместе росли. Мы вошли в плоть и кровь друг друга. Я понимаю тебя. Право же, теперь я тебя понимаю. Я как-то сразу стала тебя понимать, и теперь я действительно понимаю тебя и твои мечты. Я хочу помочь тебе. Эдуард... У Эдуарда нет никакой мечты... Мне страшно подумать, Вилли, что мы можем расстаться.

— Но мы уже решили, что должны расстаться.

— Но почему?

— Потому что я люблю тебя.

— А зачем мне скрывать, Вилли? Я тоже люблю тебя.

Наши взоры встретились. Она покраснела, но решительно продолжала:

— Ты глупый. Вся эта история глупая. Я люблю вас обоих.

— Нет, — сказал я, — ты сама не понимаешь, что говоришь.

— Ты хочешь сказать, что я должна уйти?

— Да, да. Уходи.

С минуту мы молча смотрели друг на друга, как будто из непостижимых, темных пубин силилось прорваться на поверхность что-то затаенное, невысказанное. Она хотела заговорить и запнулась.

— Но нужно ли мне уйти? — спросила она наконец; губы ее дрожали, и слезы блистали в глазах, как звезды.

— Вилли... — снова заговорила она, но я прервал ее:

— Уходи. Да, уходи!

Мы снова замолчали.

Она стояла вся в слезах, олицетворенное сострадание, стремясь ко мне, жалея меня. Дыхание более широкой любви, которая выведет наконец наших потомков за пределы суровых и определенных обязательств личной жизни, коснулось нас как первое мимолетное дуновение вольного ветра, летящего с небесных высей. Мне хотелось взять ее руку и поцеловать, но я задрожал и понял, что силы изменят мне при первом прикосновении к ней...

И мы расстались, так и не приблизившись друг к другу, и Нетти ушла нерешительным шагом, оглядываясь, ушла со своим

избранником, к избранной ею доле, ушла из моей жизни, и мне показалось, что с нею ушел из жизни солнечный свет...

После этого я, вероятно, сложил газету и положил ее в карман. Но последнее, что осталось в моей памяти, — это лицо Нетти, поворачивающейся, чтобы уйти.

Я помню все это очень ясно до сих пор. Я мог бы ручаться за верность каждого слова, вложенного мною в уста каждого из нас. И тут в моих воспоминаниях наступает провал. Я смутно припоминаю, что вернулся на дачу; припоминаю суматоху при отъезде Мелмаунта и отвращение, которое мне внушала энергия Паркера; помню также, что, спускаясь вниз по дороге, я очень хотел проститься с Мелмаунтом наедине.

Быть может, я уже колебался в моем решении навсегда расстаться с Нетти, так как, кажется, собирался рассказать Мелмаунту все подробности нашего свидания...

Я не помню, однако, чтобы мы с ним говорили об этом или о чем-либо еще, мы только наспех пожали друг другу руку. Впрочем, я не уверен. Все это изгладилось из моей памяти. Но я очень ясно и твердо помню, что чувствовал мрачное отчаяние, когда его автомобиль тронулся, поднялся на гору и исчез за холмом. Тут я впервые вполне ясно понял, что, в сущности, эта Великая Перемена и мои новые широкие планы не сулили мне в жизни полного счастья. При его отъезде мне хотелось кричать, протестовать, как будто против какой-то несправедливости. «Слишком рано, — думал я, — слишком рано оставлять меня одного».

Я чувствовал, что принес чересчур большую жертву, отказавшись от любви и страсти, от Нетти, чьей близости я так жаждал, от всякой возможности бороться за нее, — в сущности, от себя самого, и чувствовал, что после такой жертвы несправедливо было тотчас же предоставить мне, с моим израненным сердцем, одиноко идти по пути сурового, холодного долга общественного служения. Я чувствовал себя новорожденным, голым и беспомощным.

— Нужно работать! — повторял я, стараясь вызвать в душе героические чувства, и со вздохом повернулся, радуясь тому, что на

пути, который я избрал, меня по крайней мере ждет скорая встреча с моей дорогой матушкой.

Но, как ни странно, я помню, что провел вечер в Бирмингеме необыкновенно интересно и был в очень хорошем настроении. Я провел ночь в Бирмингеме потому, что движение поездов нарушилось и я не мог ехать дальше. Я отправился послушать оркестр, который давал в общественном парке концерт старой музыки, и завел разговор с одним человеком, который отрекомендовался бывшим репортером одной небольшой местной газеты. Он горячо говорил о переполнявших его планах переустройства жизни на земле, и я помню, что его благородные мечты вдохновили и меня. При лунном свете мы отправились к местечку под названием Бурнвилль, и дорогой он говорил о новых общественных постройках взамен старых изолированных жилищ и о том, как теперь будут жить люди.

Местечко Бурнвилль имело некоторое отношение к нашему разговору. Тут одна частная промышленная фирма сделала попытку улучшить жилищные условия рабочих. С нашей современной точки зрения такая попытка казалась бы в высшей степени ничтожным проявлением благожелательности, но в то время она считалась чем-то из ряда вон выходящим, так что люди издалека приезжали посмотреть на чистенькие домики с ваннами, устроенными под полом кухни (выбрали удобное место!), и другими блестящими приспособлениями. Никто в тот агрессивный век, по-видимому, не замечал опасности, грозившей свободе оттого, что рабочие становились арендаторами и должниками своих хозяев, хотя давно уже был издан закон, запрещающий выдавать заработную плату натурой. Но мне и моему случайному знакомому казалось в ту ночь, что мы всегда предвидели эту опасность, и мы не сомневались, что жилищный вопрос должен быть разрешен общественным, а не частным путем. Но больше всего нас интересовала возможность устройства общих детских, общих кухонь и комнат для общего отдыха и развлечений, что дало бы значительную экономию труда, а вместе с тем предоставило бы жильцам больше простора и свободы.

Это было очень интересно, но все же мне было невесело, и когда я лег в постель в ту ночь, то думал о Нетти и о том, как странно переменялись ее вкусы, и в иные минуты я по-своему даже молился. В ту ночь я молился — признаюсь вам — тому идолу, которого я

воздвиг в сердце своем, идолу, который и по сей день олицетворяет для меня непостижимое. Великому Искуснику и Творцу, незримому властелину всех, кто строит мир и преображает человечество.

Но до и после этой молитвы мне все чудилось, что я вновь вижу Нетти, говорю с ней, убеждаю... А она так и не вступила в храм, где я творил свою молитву.

2. Последние дни моей матери

На следующий день я вернулся домой в Клейтон.

Новое необычайное сияние мира казалось еще ярче здесь, где витали мрачные воспоминания о безотрадном детстве, мучительном отрочестве и горестной юности. Мне казалось, будто я в первый раз вижу здесь утро. Ни одна труба не дымила в тот день, ни одна плавильная печь не работала, люди были заняты другими делами. Ярко блиставшее жаркое солнце сияло в воздухе, лишенном пыли, придавая странно веселый вид узким улицам. Я встретил много улыбающихся людей — они возвращались домой с общественного завтрака, временно устроенного в ратуше, впредь до лучшей организации этого дела, и в числе других увидел Парлода.

— Ты был прав относительно кометы! — тотчас воскликнул я.

Он подошел и сжал мою руку.

— Что здесь происходит? — спросил я.

— Нам доставляют пищу из других мест, — сказал он. — Мы начнем с того, что снесем все эти лачуги, а жить пока будем в палатках на пустырях.

Он начал рассказывать мне о предпринятых работах. Земельные комитеты Мидленда принялись за работу очень быстро и успешно, и план перераспределения населения в общих чертах был уже намечен. Сам Парлод занимался в наскоро созданном инженерном училище. Пока вырабатывались схемы работ, почти все стали снова посещать школы, чтобы приобрести возможно больше технических знаний и навыков ввиду предполагаемых обширнейших переустройств.

Он проводил меня до двери моего дома, и тут я встретил старого Петтигрю, спускавшегося по лестнице. Он был весь в пыли, и вид у него был усталый, но глаза смотрели веселее, чем обычно, и он довольно неловко нес непривычными руками корзину с рабочими инструментами.

— Как ваш ревматизм, мистер Петтигрю? — спросил я.

— Диета способна творить чудеса, — отвечал старик и посмотрел мне в глаза. — Эти дома, — сказал он, — очевидно, будут снесены, и наши понятия о собственности подвергнутся очень значительному

пересмотру в свете разума; пока же я стараюсь хоть как-нибудь починить эту ужасную крышу. Подумать только, что я еще спорил и отлынивал!

Он поднял руку умоляющим жестом; углы его большого рта опустились, и он горестно покачал головой.

— Что было, то прошло, мистер Петтигрю.

— Ваша бедная, бесценная матушка! Такая хорошая, честная женщина! Такая простая, добрая и всепрощающая! Подумать только! Мой дорогой юноша, — мужественно закончил он, — я краснею от стыда.

— Весь мир краснел на заре первого дня после Перемены, мистер Петтигрю, да еще как краснел. Теперь все это забыто. Всем пришлось стыдиться того, что происходило до вторника.

Я протянул ему руку в знак прощения, забывая, что я тоже был вором, и он пожал ее и пошел своей дорогой, все еще качая головой и повторяя, что ему стыдно, но как будто несколько утешенный.

Отворилась дверь, и показалось радостное лицо моей бедной старой матушки.

— Вилли, мой мальчик, это ты, ты!

Я кинулся к ней по ступенькам, боясь, что она упадет.

Как она прижалась ко мне в коридоре, дорогая моя матушка!

Но прежде она все же затворила дверь. В этом сказалась старая привычка остерегаться моего своенравного характера.

— Милый, милый мой, много же пришлось тебе испытать горя! — И она прильнула лицом к моему плечу, опасаясь рассердить меня слезами, которые не в силах была сдержать.

Она всхлипнула и на мгновение притихла, крепко прижимая меня к сердцу своими старыми, натруженными руками...

Потом поблагодарила меня за телеграмму, и я, обняв, повел ее в комнату.

— Со мной все хорошо, мама, — сказал я, — мрачные дни миновали, прошли навсегда.

Тут она осмелилась дать себе волю и расплакалась, и это были слезы облегчения.

За пять тягостных лет она ни разу не показала мне, что еще может плакать...

Бедная моя матушка! Ей не суждено было долго жить в этом обновленном мире. Я не знал, как мало дней ей осталось, и делал то небольшое (для нее это, быть может, было не так мало), что мог, чтобы загладить мою грубость в дни ненависти и возмущения. Я старался быть всегда вместе с ней, так как замечал, что она без меня тоскует. Не то чтобы были у нас общие мысли или развлечения, но ей нравилось видеть меня за столом, смотреть, как я работаю или как расхаживаю по комнате. В этом мире для нее уже не было подходящей работы, остались только те мелкие услуги, выполнять которые усталой и измученной старушке легко и приятно, и мне кажется, что она была даже счастлива перед смертью.

Она все еще придерживалась своих нелепых старых религиозных взглядов восемнадцатого столетия. Она так долго носилась с этим своеобразным амулетом, что он стал как бы частицей ее самой. Но Перемена повлияла даже на ее упорную веру.

Я однажды спросил ее:

— Неужели же вы все еще верите в этот ад с его неугасимым огнем, дорогая матушка? Неужели при вашем нежном, любящем сердце вы можете в него верить?

Она поклялась, что верит.

Какие-то богословские хитросплетения заставляли ее верить в это, и однако...

Задумавшись, она несколько минут молча смотрела на цветущие примулы, потом положила дрожащую руку мне на плечо и сказала, как бы разъясняя мое детское заблуждение:

— Но знаешь ли, дорогой Вилли, я не думаю, что кто-нибудь попадет туда. Я никогда этого не думала...

Этот разговор запомнился мне потому, что меня покорило тогда умение матушки смягчать добротой души суровые богословские догмы, но он был лишь одной из наших бесчисленных бесед. После обеда, когда кончались дневные работы, я обыкновенно гулял с матерью в садах Лоучестера, выкуривал две-три папиросы и слушал ее сбивчивые речи обо всем, что ее занимало, пока не наступало время

вечерних научных занятий. Как странно было бы раньше, если бы молодой человек из рабочей среды занимался изучением социологических вопросов, и как естественно это теперь!

Великая Перемена сделала очень мало для восстановления физических сил моей матери — она слишком долго прожила в своей мрачной подвальной кухне в Клейтоне, чтобы теперь основательно окрепнуть. Она только разгоралась, как угасающая искра в пепле под дуновением свежего воздуха, и это, несомненно, ускорило ее конец. Однако последние дни ее жизни были тихие, спокойные, полные безоблачного счастья. Жизнь ее напоминала те ветреные, дождливые дни, которые разгуливаются только для того, чтобы блеснуть вечерней зарей. Ее день уже миновал. Среди удобств новой жизни она не приобрела новых привычек, не делала ничего нового, и только старое осветилось для нее более радостным светом.

Она вместе с другими пожилыми женщинами нашей общины жила в верхних комнатах Лоучестер-хауса. Эти верхние комнаты были просты, просторны, изящно и хорошо отделаны в георгианском стиле и приспособлены таким образом, чтобы доставлять их обитательницам возможно больше удобств, не заставляя их прибегать к посторонней помощи. Мы заняли различные так называемые «большие дома» и обратили их в общественные столовые — кухни там были для этого достаточно просторны — и в уютные жилища для людей старше шестидесяти лет, для которых уже наступило время отдыха. Мы приспособили для общих целей не только дом лорда Редкара, но и дом в Чексхилле — старая миссис Веррол оказалась достойной и умелой домоправительницей — и большинство прекрасных особняков в живописной местности между областью Четырех Городов и Уэльскими горами. К этим большим домам обыкновенно примыкали различные надворные постройки: прачечные, квартиры для семейной прислуги, помещения для скота, молочные фермы и тому подобные здания, терявшиеся в зелени; мы все это обратили в жилища и к ним вначале добавили палатки и легкие деревянные коттеджи, а позднее пристроили более солидные жилые помещения. Чтобы быть ближе к матери, я занял две комнаты в одном из новых общественных зданий, которыми наша община обзавелась раньше других; это было мне очень удобно, так как вблизи находилась станция электрической железной дороги, по которой я

отправлялся на наши ежедневные совещания и для исполнения моей секретарской работы в Клейтоне.

Наша община была одной из первых, упорядочивших свое хозяйство. Нам очень помог деятельный лорд Редкар, прекрасно чувствовавший, как живописен дом его предков и как благотворно может влиять на людей его красота. Это он предложил избрать направление дороги по буковым лесам и усеянным колокольчиками папоротниковым зарослям Вест-Вуда так, чтобы не нарушить очарования роскошного, густого, дикого парка, и мы могли гордиться нашими окрестностями. Когда рабочие начали переселяться, представители почти всех остальных общин, возникавших по городам-садам вокруг промышленной долины Четырех Городов, являлись к нам изучать расположение наших построек и архитектуру квадратных зданий, которыми мы заменили переулки между «большими домами» и резиденциями духовенства вокруг кафедрального собора, а также и то, как мы приспособили все эти здания к нашим новым социальным потребностям. Некоторые утверждали, правда, что превзошли нас. Но в одном они не могли нас превзойти: нигде во всей Англии не было таких рододендронов, как в наших садах: они родились только в наших краях, на щедрой торфяной почве без применения извести.

Эти сады были разбиты более пятидесяти лет тому назад, при третьем лорде Редкаре; в них было много рододендронов и азалий, и находились они в местах, так хорошо защищенных и так ярко освещаемых солнцем, что там росли и цвели огромные магнолии. Здесь росли также высокие деревья, обвитые красными и желтыми вьющимися розами, разнообразные цветущие кустарники, прекрасные хвойные деревья и такая пампасовая трава, какой не было ни в одном другом саду. В тени кустов раскинулись широкие лужайки и поляны с изумрудными газонами и разбросанными по ним цветниками роскошных роз, весенних луковичных цветов, первоцветов, нарциссов и примул.

Моей матери больше всего нравились в саду эти клумбы с маленькими круглыми блестящими глазками из бесчисленных желтых, красновато-коричневых и пурпурных цветов, и весной, в Год Строительства, она каждый день ходила посидеть на ту скамью, откуда лучше всего были видны эти цветники. Кроме красоты, цветы

давали ей, мне кажется, ощущение изобилия и богатства. В прежнее время ей всегда приходилось довольствоваться только самым необходимым.

Сидя на этой скамье, мы молча думали или разговаривали, чувствуя, что хорошо понимаем друг друга.

— Знаешь, — сказала она мне однажды, — рай — это сад.

Мне захотелось немного подразнить ее.

— Да ведь там алмазы, стены и ворота из алмазов и все поют.

— Алмазы для тех, кому они любы, — с глубоким убеждением ответила матушка и, немного подумав, продолжала: — Конечно, там всего хватит для всех. Но для меня рай не в рай, если там не будет сада. Надо, чтобы был славный солнечный садик... И еще надо чувствовать, что те, кого мы любим, где-то близко.

Вы, люди более счастливого поколения, не можете себе представить прелести этих первых дней новой эры, чувства уверенности в завтрашнем дне, необычайных контрастов. По утрам, за исключением лета, я вставал до зари, завтракал в скором, плавно идущем поезде и не раз, вероятно, встречал восход солнца, выезжая из маленького туннеля, прорезавшего Клейтон-Крэст, а затем бодро принимался за работу.

Теперь, когда мы перенесли все жилые дома, школы и все необходимые учреждения подальше от областей угля, железной руды и глины, отбросили, как ненужный хлам, тысячи разных «прав» и опасений, руки у нас были развязаны, и мы принялись за дальнейшую работу. Мы соединяли разрозненные предприятия, вторгались в прежде запретные для нас частные поместья, соединяли и разделяли, создавали гигантские объединенные предприятия и мощные земельные хозяйства, и долина из арены жалких человеческих трагедий и подло конкурирующих промышленников превратилась в сгусток своеобразной величественной красоты, дикой красоты могучих механизмов и пламени. Это была Этна, а мы чувствовали себя титанами. В полдень я возвращался домой, принимал ванну, переодевался в поезде и, весело болтая, обедал в клубе, помещавшемся в столовой Лоучестер-хауса, а затем проводил тихие послеобеденные часы в зеленом парке.

Иногда в минуты раздумья матушке даже казалось, что все это только сон.

— Да, это сон, — говорил я ей, — это действительно сон, но только он ближе к яви, чем кошмары прежних дней.

Ей очень нравилась моя новая одежда; она говорила, что ей нравятся новые фасоны, но не это одно радовало ее. К двадцати трем годам я вырос еще на два дюйма, стал на несколько дюймов шире в груди и на сорок два фунта увеличился в весе. Я носил костюм из мягкой коричневой ткани, и матушка часто гладила мой рукав и любовалась материалом: она, как и всякая женщина, любила материи.

Иногда она вспоминала прошлое, потирая свои бедные грубые руки, которые так и не сделались мягкими. Она рассказывала мне многое о моем отце и о своей молодости, чего я прежде не слышал. Слушая рассказы моей матери, я понимал, что некогда она была страстно любима и что мой покойный отец плакал от счастья в ее объятиях; я испытывал такое чувство, точно находил в забытой книге засушенные и поблекшие цветы, все еще испускающие легкий аромат. Иногда она осторожно пыталась даже заговорить о Нетти теми шаблонными, пошлыми фразами старого мира, которые, однако, в ее устах совсем не звучали плоско и озлобленно.

— Она не стояла твоей любви, дорогой, — говорила она, предоставляя мне отгадывать, о ком идет речь.

— Ни один мужчина не стоит любви женщины, — отвечал я, — и «и одна женщина не стоит любви мужчины. Я любил ее, дорогая мама, и этого нельзя изменить.

— Есть и другие, — возражала она.

— Не для меня, — отвечал я, — я уже сжег свой запас пороху. Не могу я начинать снова.

Она вздохнула и ничего больше не сказала.

В другой раз она сказала:

— Ты будешь совсем одинок, дорогой, когда меня не станет.

— Поэтому вы не должны покидать меня, — сказал я.

— Дорогой мой, мужчине необходима женщина.

Я ничего не ответил.

— Ты слишком много думаешь о Нетти, милый. Если бы я могла дожить до твоей женитьбы на какой-нибудь славной, доброй девушке!

— Дорогая матушка, мне не нужна жена... Может быть, когда-нибудь... кто знает? Мое время еще не ушло.

— Но ты совсем не интересуешься женщинами.

— У меня есть друзья. Не тревожьтесь, матушка. В этом мире достаточно дела для человека, хотя бы он и вырвал любовь из своего сердца. Нетти была, есть и будет для меня жизнью и красотой. Не думайте, что я потерял слишком много.

(Потому что втайне я еще надеялся.)

Однажды она вдруг задала мне вопрос, который удивил меня:

— Где они теперь?

— Кто?

— Нетти и он.

Она проникла в сокровенные тайники моего сердца.

— Не знаю, — ответил я кратко.

Ее сморщенная рука слегка коснулась моей.

— Так лучше, — сказала она, как бы уговаривая меня. — В самом деле... так лучше.

Что-то в ее дрожащем, старческом голосе на мгновение вернуло меня к прошлому, к мятежному чувству прежних дней, когда нам внушали покорность, уговаривали не оскорблять бога, и все это неизменно вызывало в моей душе гневный протест.

— В этом я сомневаюсь, — сказал я и вдруг почувствовал, что не в силах больше говорить с ней о Нетти. Я встал и отошел от нее, но потом вернулся, принес ей букет из бледно-желтых нарциссов и заговорил о другом.

Но не всегда я проводил мое послеобеденное время с ней. Иногда моя подавленная жажда видеть Нетти была так сильна, что я предпочитал оставаться один, гулял, ездил на велосипеде и начал учиться верховой езде, которая развлекала меня. Лошади к этому времени уже успели пожать плоды Перемены. Не прошло и года, как жестокий обычай — перевозка тяжестей на лошадях — почти совершенно исчез; перевозка, пахота и другие конные работы всюду производились при помощи машин, а лошадь — прекрасное животное — была отдана молодым для развлечения и спорта. Я любил ездить верхом, особенно без седла. Я находил, что спорт, требующий напряжения всех сил, хорошо действует при приступах мучительной тоски, иногда нападавшей на меня; а когда верховая езда надоедала, я отправлялся к авиаторам, парившим на своих аэропланах за Хорсмарден-хилл... Но не реже, чем раз в два дня я всегда

отправлялся к матери и, мне помнится, отдавал ей по меньшей мере две трети своего свободного времени.

Когда матушка стала чувствовать ту слабость, ту потерю жизненных сил, от которой много старых людей умирало в начале новой эпохи тихой, безболезненной смертью, то, по новому обычаю, за ней вместо дочери стала ухаживать Анна Ривз. Она сама пожелала прийти. Мы немного знали Анну; она иногда встречалась с моей матерью и помогала ей в саду; Анна всегда искала случая помочь ей. Мне она казалась всего лишь одной из тех добрых девушек, которых не лишен был мир даже в худшие свои времена и которые как бы служили противовесом в нашей тогдашней жизни, полной гнета, ненависти, безверия. Упорные и бескорыстные, они несли свое тайное, безмолвное служение, делали свое трудное, упорное, добровольное, неблагодарное, бескорыстное дело, как заботливые дочери, как няньки, как преданные служанки, как незаметные ангелы-хранители семьи. Анна была на три года старше меня. Вначале я не видел в ней никакой красоты: это была невысокая, крепкая, румяная девушка с рыжеватыми волосами, светлыми густыми бровями и карими глазами. Но ее веснушчатые руки всегда готовы были ловко и искусно прийти на помощь, а ее голос успокаивал и подбадривал...

Вначале я видел в ней только сестру милосердия, в синем платье с белым передником, двигавшуюся в тени у постели, на которой моя старушка мать спокойно приближалась к смерти. Иногда Анна выходила вперед, чтобы что-нибудь сделать или просто успокоить, и матушка всегда улыбалась ей. Но вскоре я понял и оценил красоту ее мягкой женственности, всегда готовой помочь, прелесть ее неутомимой доброты и нежности, глубину и богатство голоса, спокойствие, исходившее из каждого ее слова. Я заметил и запомнил, как однажды исхудалая старая рука моей матери похлопывала ее сильные руки, усыпанные золотистыми пятнышками, когда Анна поправляла ей одеяло.

— Она очень добра ко мне, — заметила однажды матушка. —
Добрая девушка. словно родная дочь... У меня, в сущности, никогда не было дочери...

Она замолчала и задумалась, потом прибавила:

— Твоя маленькая сестра рано умерла.

Я никогда прежде не слышал о своей маленькой сестре.

— Десятого ноября, — продолжала мать, — умерла, когда ей было два года, пять месяцев и три дня... Я плакала, много плакала. Это было, когда ты еще не родился. Так много времени прошло с тех пор, а я еще вижу ее, как живую. Я была тогда молода, и твой отец был очень добр ко мне. Я вижу ее ручонки, ее неподвижные маленькие ручонки... Говорят, теперь маленькие дети уже не будут умирать...

— Да, дорогая матушка, — ответил я. — Теперь все будет иначе.

— Доктор из клуба не мог приехать. Твой отец дважды ходил за ним. У него были другие больные, которые ему платили. Тогда твой отец поехал в Суотингли, и тот врач тоже не соглашался приехать, если ему не заплатят. А твой отец Даже переоделся, чтобы иметь более приличный вид, но денег у него не было даже на обратный проезд. Мне было так тяжело ждать с больной малюткой на руках... И мне до сих пор думается, что доктор мог бы ее спасти. Но так всегда было с бедняками в те старые, дурные времена, всегда. Когда же доктор наконец приехал, то рассердился, что его не позвали раньше, и ничего не стал делать. Он рассердился, что ему раньше не объяснили, в чем дело. Я умоляла его, но было уже поздно.

Она говорила все это очень тихо, опустив веки, словно рассказывала о каком-то сне.

— Мы постараемся теперь устроить все это лучше, — сказал я. Странное, мстительное чувство вызвала во мне эта трогательная история, глухо и монотонно рассказанная умирающей.

— Она говорила... — продолжала мать, — она говорила удивительно хорошо для своего возраста... Гиппопотам.

— Что? — переспросил я.

— «Гиппопотам», дорогой мой, очень ясно произнесла она однажды, когда отец показывал ей картинки... И ее молитвы... «Теперь, — говорила она... — я ложусь спать». Я вязала ей маленькие чулочки. Я сама вязала, дорогой, труднее всего было связать пятку...

Она закрыла глаза и уже рассказывала не мне, а себе самой. Она тихо шептала что-то непонятное, обрывки фраз — призраки давно минувшего прошлого... Ее бормотание становилось все неразборчивее...

Наконец она заснула, я встал и вышел из комнаты; но я не мог забыть об этой мимолетной, радостной и полной надежд маленькой жизни, зародившейся только для того, чтобы снова так необъяснимо уйти в безнадежность небытия, думал о моей маленькой сестренке, о которой я прежде никогда не слышал...

Меня охватила мрачная злоба на все невосполнимые страдания прошлого, которых легко можно было избежать и в которых история моей сестренки была лишь маленькой кровавой каплей. Я шагал по саду, но там мне показалось слишком тесно, и я вышел побродить по вересковым равнинам. «Прошлое миновало», — повторял я себе, и все же через эту двадцатипятилетнюю пропасть мне слышались рыдания моей бедной матери, оплакивавшей малютку, которая страдала и умерла. По-видимому, дух возмущения, несмотря на все преобразования последнего времени, не совсем заглох во мне... Наконец я успокоился, кое-как утешившись тем, что наша судьба никогда не открывается нам заранее, да ее и нельзя, быть может, открыть нашим темным умам, и, во всяком случае, — а это куда важнее — мы обладаем теперь силой, мужеством, новым даром разумной любви; какие бы жестокости и горести ни омрачали прошлое, теперь уже мы не увидим больше тех тягот и несправедливостей, которые составляли основу старой жизни. Теперь мы можем предвидеть, предотвращать и спасать.

— Прошлое миновало навсегда, — повторял я твердо, но со вздохом, увидав с дороги сотни окон старого Лоучестер-хауса, освещенных лучами заходящего солнца. — Эти горести уже больше не горести.

Но я не мог отделаться от чувства печали и сожаления о бесчисленных жизнях, сломленных и погибших в страданиях и во мраке прежде, чем очистился наш воздух...

3. Праздник Майских костров и канун Нового года

Матушка все-таки умерла внезапно, и ее смерть была ударом для меня. Диагностика в то время была далека от совершенства. Врачи вполне сознавали недостаточность своих знаний и делали все возможное, чтобы их пополнить, но все-таки они были на редкость невежественны. По какой-то не замеченной вовремя причине болезнь ее обострилась, ее начало лихорадить, она ослабела и быстро умерла. Я не знаю, какие предпринимались меры. Я не понимал, что с ней, пока не настал конец.

В это время происходили приготовления к грандиозному празднику Майских костров в Год Стройки. Это было первое из десяти великих сожжений всего негодного хлама, которыми открылся новый век. Современная молодежь едва ли сможет представить себе, с какой грудой всякого бесполезного сора приходилось нам иметь дело; если бы мы не установили специального дня и времени года, то по всему миру непрерывно горели бы мелкие костры, и мне кажется, что мысль о возрождении древнего праздника майских и ноябрьских очистительных огней была вполне удачной. Вместе с именем неизбежно ожила и старая идея этих празднеств — очищение; чувствовалось, что здесь сжигается не один только материальный мусор, — в эти костры бросалось и множество такого, что словно бы относилось к жизни духовной: судебные дела, документы, долговые обязательства, исковые прошения, приговоры судов.

Люди с молитвой проходили между кострами, и те, кто находил утешение в ортодоксальной вере, приходили туда по своей собственной воле молиться о том, чтобы вся ненависть мира сгорела в этих кострах, и это был прекрасный символ новой и более разумной терпимости, которой теперь обладали люди. Ибо теперь, когда они покончили с низкой ненавистью, можно найти бога живого даже в пламени Вааловом.

Нам приходилось сжигать много мусора в этих громадных очистительных кострах. Во-первых, почти все дома и здания прежнего времени. Под конец во всей Англии из каждых пяти тысяч зданий,

существовавших до пришествия кометы, едва ли осталось хоть одно. Из года в год, по мере того как мы воздвигали новые жилища, сообразуясь с более разумными и здоровыми потребностями наших новых социальных семей, мы сносили все большее количество этих наскоро, без всякой красоты и фантазии, недобросовестно построенных безобразных домов, без простейших удобств, в которых ютились жители начала двадцатого столетия; мы сносили их, пока, повторяю, не осталось почти ни одного старого здания. Из всего их жалкого и скучного скопища мы пощадили только самые красивые и интересные. Целые дома мы, конечно, не могли перетащить к нашим кострам, но мы сожгли их уродливые сосновые двери, их ужасные оконные рамы, их лестницы, доставлявшие столько мучений прислуге, их мрачные, затхлые буфеты, кишачие паразитами обои с заплесневевших стен, пропитанные пылью и грязью ковры, безобразные, но претенциозные столы и стулья, шкафы и комоды; старые, засаленные книги и украшения — грязные, прогнившие и жалкие украшения, — в числе которых, я помню, встречались иногда даже *набитые какой-то трухой дохлые птицы!* Все это мы сожгли. Особенно ярко горели безобразно раскрашенные, с несколькими слоями краски, деревянные резные предметы. Я уже пытался дать вам понятие о мебели старого века, описав спальню Парлода, комнату моей матери, гостиную мистера Геббитаса, — какое счастье, что в нашей жизни сейчас ничего не осталось от этого безобразия! Важно уже одно то, что теперь вы не увидите ни прежнего неполного сгорания угля, покрывавшего все копотью, ни дорог без травы, которые походили на шрамы и постоянно обдавали вас пылью. Мы сожгли и уничтожили большую часть старых частных зданий, все деревянные изделия, всю мебель, за исключением нескольких тысяч предметов, отличавшихся явной и бесспорной красотой, из которых развились теперешние формы мебели; сожгли все прежние занавеси, ковры, все старые одежды, сохранив в наших музеях лишь немногие тщательно продезинфицированные образцы.

Об одеждах прошлого времени теперь пишешь с особенной безразличностью. Костюмы мужчин носились в течение нескольких лет бессменно, подвергаясь лишь поверхностной и случайной чистке не чаще раза в год. Их шили из темных материй неопределенного рисунка, чтобы не так заметна была их изношенность, причем

материя была мохнатая и пористая, точно нарочно для того, чтобы лучше пропитываться грязью. Многие женщины носили юбки из такой же материи, и к тому же столь длинные и неудобные, что они волочились по ужасной грязи наших дорог, где постоянно ходили лошади. В Англии у нас гордились тем, что никто не ходил босиком, — правда, ноги у большинства были так безобразны, что обувь была им необходима, но для нас сейчас совсем непонятно, как они могли засовывать свои ноги в эти невообразимые футляры из кожи или из подделок под кожу. Я слышал, что физическое вырождение, явно начавшееся в конце девятнадцатого века, было вызвано не только разными вредными веществами, употреблявшимися в пищу, но происходило также, и в большой мере, от негодной обуви, которую все тогда носили. Люди избегали всяких физических упражнений на открытом воздухе, так как при этом обувь их быстро изнашивалась, жала и натирала ноги. Я упоминал уже о той роли, какую сыграла обувь в моей юношеской любовной драме, и потому я с чувством торжества над побежденным врагом отправлял грузовик за грузовиком дешевых ботинок (непроданные запасы из складов Суотингли) на сожжение около Глэнвильских плавильных печей.

Трах! — И они летели в печь, и пламя с ревом пожирало их. Никогда уже никто не простудится из-за их картонных промокающих подошв, никто не натрет мозолей из-за их дурацкой формы, никогда их гвозди не будут вонзаться в ноги и причинять боль...

Большая часть наших общественных зданий сносилась и сжигалась по мере того, как мы осуществляли наш новый план строительства. Прежние сараи, именовавшиеся у нас театрами, банки, неудобные торговые помещения, конторы (эти в первый же год) и все «бессмысленные копии» псевдоготических церквей и молелен — эту безобразную скорлупу из камня и извести, воздвигавшуюся без любви, фантазии и чувства красоты, которую богачи бросали в виде подачки своему богу, наживаясь на нем так же, как на своих рабочих, которым они затыкали рот дешевой пищей, — все это было снесено с лица земли в течение первого же десятилетия. Затем нам пришлось освободиться от устарелой системы паровых железных дорог с их станциями, семафорами, заграждениями и подвижным составом, от всей этой сети неудачных, гроыхающих и дымящих приспособлений, которые при прежних условиях протянули бы, может быть, свое

ненужное, чахнувшее, вредоносное существование еще с полвека. Затем последовала обильная жатва изгородей, вывесок, щитов для объявлений, безобразных сараев, всего ржавого и погнувшегося железа, всего вымазанного смолой, всех газовых заводов и складов бензина, всех повозок, экипажей и телег — все это подлежало уничтожению...

Перечисленного мною, наверно, достаточно, чтобы дать понятие о величине наших костров, о том, сколько в те годы нам приходилось сжигать, плавить, сколько труда потребовалось на одно дело разрушения, не говоря уже о созидании.

Но это была лишь грубая материальная основа тех костров, которые разгорались во всем мире, из пепла которых предстояло возродиться фениксу. За ними последовали в огонь внешние видимые доказательства бесчисленного множества претензий, прав, договоров, долгов, законодательных постановлений, дел и привилегий, коллекции знаков отличия и мундиров, не настолько интересных или красивых, чтобы их стоило сохранять, пошли на усиление пламени, так же как и все военные символы, орудия и материалы, за исключением некоторых действительно славных трофеев и памятников. Бесчисленные шедевры нашего старого, фальшивого, зачастую продажного изящного искусства постигла та же участь: громадные картины, написанные масляными красками для удовлетворения запросов полуобразованного мелкого буржуа, покрасовавшись одно мгновение в пламени, тоже сгорели. Академические мраморные изваяния превращены были в полезную известь; громадное множество глупых статуй и статуэток, разных фаянсовых изделий, занавесок, вышивок, плохих музыкальных инструментов и нотных тетрадей с Дрянной музыкой постигла та же участь. В костры побросали также много книг и связок газет; из частных домов одного только Суотингли — а я считал его, и не без оснований, вообще неграмотным поселком — мы собрали целую мусорную телегу дешевых, плохо отпечатанных изданий второсортных английских классиков, по большей части очень скучных, никем не читаемых, и целую фуру растрепанных бульварных романов с загнутыми, захватанными углами, скверных и бессодержательных, — свидетельство истинно британской умственной водянки... И, когда мы собирали эти книги и газеты, мне казалось, будто мы сваливаем не просто печатную бумагу, а

извращенные и искаженные идеи, заразительные внушения, догматы трусливой покорности и глупого нетерпения, подлые, тупые измышления в защиту сонной лени мысли и робких уверток. При этом я испытывал не просто злорадное удовлетворение, а нечто куда большее.

Повторяю, я был так занят этим делом мусорщика, что не заметил тех слабых признаков перемены в состоянии здоровья матушки, которые иначе не ускользнули бы от моего внимания. Мне даже показалось, что она немного окрепла, на лице появился легкий румянец и она стала разговорчивей...

Накануне праздника Майских костров, когда кончилась наша очистка Лоучестера, я отправился по долине в противоположный конец Суотингли, чтобы помочь рассортировать склады нескольких отдельных гончарен, состоявшие главным образом из каминных украшений и имитаций под мрамор, но отобрать можно было очень немного. Здесь-то наконец по телефону отыскала меня Анна, ухаживавшая за моей матерью, и сообщила, что матушка внезапно скончалась утром, почти тотчас же после моего ухода.

Я не сразу поверил; это неминуемое событие страшно потрясло меня, как будто я никогда его не предвидел. Я продолжал машинально работать, потом апатично, в каком-то отупении, почти с любопытством направился в Лоучестер.

Когда я прибыл туда, все уже было сделано, и я увидел среди белых цветов бледное лицо моей старушки матери. Выражение его было совершенно спокойное, но несколько холодное, суровое и незнакомое.

Я вошел к ней в тихую комнату один и долго простоял у ее постели. Потом присел и задумался...

Наконец, пораженный странным безмолвием и сознавая, какая бездна одиночества раскрылась передо мной, я вышел из этой комнаты в мир, в деятельный, шумный, счастливый мир, занятый последними радостными приготовлениями к торжественному сожжению мусора прошлого.

Ночь этого первого майского праздника была самой ужасной, одинокой ночью в моей жизни. Она вспоминается мне отрывочно:

какие-то отдельные вспышки бурного чувства, а что было между ними — не помню.

Помню, что я стоял на высокой лестнице Лоучестер-хауса, хоть и не помню, как попал туда из комнаты, где лежала моя мать, и как на площадке встретил Анну, поднимавшуюся вверх в то время, как я собирался спуститься вниз. Она только что услышала о моем возвращении и поспешила мне навстречу. Мы оба остановились, сжимая друг другу руки, и она внимательно всматривалась в мое лицо, как это иногда делают женщины. Мы простояли так несколько мгновений. Я не мог ничего сказать ей, но чувствовал ее волнение. Я постоял, ответил на ее дружеское крепкое пожатие, затем выпустил ее руку и после странного колебания нерешительно стал спускаться по лестнице. Мне тогда и в голову не пришло задуматься над тем, что она чувствовала и переживала.

Помню коридор, освещенный мягким вечерним светом, по которому я машинально сделал несколько шагов в направлении столовой. Но при виде столиков, услышав гул голосов — кто-то передо мной вошел и распахнул дверь, — я почувствовал, что не хочу есть... Потом я, кажется, ходил по лужайке у дома, собираясь уйти на вересковую равнину, чтобы остаться одному, и кто-то, проходивший мимо, что-то сказал мне о шляпе. Оказалось, я забыл захватить ее.

Отрывочно вспоминаются мне луга, позлащенные заходящим солнцем. Мир казался мне необычайно пустым без Нетти и матери, а жизнь — бессмысленной. Я уже снова думал о Нетти...

Потом я вышел на вересковую равнину, избегая возвышенностей, где собирались зажечь костры, и ища уединенных мест...

Помню, что я сидел у калитки в конце парка, у подножия холма, скрывавшего от меня костер и толпу вокруг него; сидел и любовался закатом. И залитые золотом земля и небо казались мне крохотным воздушным пузырьком, затерявшимся в бездне человеческого ничтожества. Затем в сумерки я шел вдоль живой изгороди по незнакомой тропинке, над которой носились летучие мыши...

Я провел эту ночь на открытом воздухе, без сна; но около полуночи я почувствовал голод и поужинал в маленькой гостинице по дороге в Бирмингем, за многие мили от своего дома. Я бессознательно избегал холмов, на которых собирались толпы людей, любовавшихся кострами, но и в гостинице было немало посетителей, и со мной за

столиком сидел человек, которому хотелось сжечь несколько ненужных закладных. Я говорил с ним об этих закладных, но мысли мои заняты были совсем другим...

Скоро на холмах зажглись огненные цветы тюльпанов. Черные фигурки сновали кругом, пятная основания огненных лепестков; остальные массы людей поглощала тихая, мягкая ночь. Избегая дорог и тропинок, я брел один по полям, но до меня доносился гул голосов и треск и шипение больших костров.

Пройдя по пустынному лугу, я лег в тенистой ложбине и стал смотреть на звезды. Мрак скрывал меня, но я слышал шум и треск Майских костров, сжигавших хлам минувшего, и голоса людей, проходивших мимо огня и возносивших молитвы об избавлении от духовного рабства.

Я думал о матери, о моем новом одиночестве, о моей тоске по Нетти.

В эту ночь я передумал многое, главным образом о безграничной любви и нежности, охватившей меня после Перемены, о моем страстном стремлении к той единственной женщине, которая одна только и могла удовлетворить все мои желания...

Пока жива была матушка, ей в известной степени принадлежало мое сердце, ей отдана была моя нежность, без которой невозможно жить, она смягчала душевную пустоту; но теперь я вдруг лишился этого единственного возможного утешения. В эпоху Перемены многие считали, что громадный духовный рост человечества уничтожит личную любовь, но он только сделал ее менее грубой, более полной и более жизненно необходимой. Видя, что люди полны жажды деятельности и готовы с радостью оказывать друг другу всевозможные услуги, многие полагали, что им более не нужно будет той доверчивой интимной близости, которая составляла главную прелесть прежней жизни. Они были правы в одном: близость эта уже не нужна была как опора в стремлении к личной выгоде, в борьбе за существование; но ведь любовь как потребность духа, как высшее ощущение жизни осталась.

Мы не уничтожили личной любви, а только очистили ее от грязной шелухи, от гордости, подозрительности, от продажности и соперничества, и она предстала теперь перед нами сверкающей и непобедимой. Среди красоты и разнообразия новой жизни стало еще

очевидней, что для каждого человека существуют некие личности, таинственно и неизъяснимо гармонирующие с ним; одно присутствие их доставляет удовольствие, одно их существование придает интерес жизни, их индивидуальные свойства сливаются в полную, совершенную гармонию с теми, кому предназначено их полюбить. Без этого нельзя жить. Без них весь прекрасный обновленный мир — это оседланный конь без седока, ваза без цветов, театр без представления... И для меня в эту майскую ночь стало так же ясно, как ясно горели костры, что только Нетти, одна Нетти, может одарить меня этим чувством гармонии. Но она ушла; я сам настоял на нашей разлуке и теперь даже не знал, где она. В первом же порыве добродетельного безумия я навсегда вырвал ее из моей жизни!

Так мне казалось, когда я, никем не видимый, лежал во мраке, призывая Нетти, и рыдал, прильнув лицом к земле, рыдал, когда повсюду разгуливали веселые люди, а расстилавшийся дым костров, словно облако, заволакивал далекие звезды, и красные отблески огня, смешиваясь с тенями и яркими искрами, плясали и переливались по всему миру.

Нет, Перемена освободила нас только от пошлых страстей, от чисто физического сладострастия, от низких помыслов и грубых причуд, но от любви она нас не освободила. Она дала еще большую власть эросу. И в ту ночь я, отвергший его, расплачивался слезами и муками за свою вину перед ним...

Не помню уж, как я встал, как бесцельно блуждал между полуночными огнями, избегая смеющихся и веселых людей, целыми толпами направлявшихся домой между тремя и четырьмя часами утра, очищенных и обновленных, чтобы начать новую жизнь. Но на заре, когда пепел праздничных огней остыл — было холодно, и я дрожал в моей тонкой, летней одежде, — я прошел через поля к рощице, где виднелась масса темно-синих гиацинтов; во всем этом мелькнуло что-то знакомое, и я остановился в недоумении. Затем я невольно сделал несколько шагов в сторону: изуродованное дерево сразу воскресило былые воспоминания. Да, это то самое место! Тут я стоял, там повесил свой старый бумажный змей и принялся обучаться стрельбе из револьвера, подготавливаясь к встрече с Верролом.

Не было уже ни змея, ни револьвера, миновала горячка и слепота прошлого; последние его следы испепелились и исчезли в яростном

огне первомайских костров. И вот я шел теперь по земле, усеянной серым пеплом, направляясь к большому дому, где покоился одинокий, покинутый прах моей дорогой матери.

Измученный и несчастный, вернулся я в Лоучестер-хаус; захваченный бесплодной тоской по Нетти, я совсем и не думал о будущем.

Горе влекло меня в этот большой дом, чтобы еще раз взглянуть на застывшие навек черты, которые когда-то были лицом моей матушки; когда я вошел в комнату, Анна, сидевшая у открытого окна, встала навстречу мне. Она, видно, ждала. Она тоже была бледна от бессонной ночи, проведенной в комнате матери. Она бодрствовала до утра, смотря то на покойницу, то на первомайские огни вдали, и очень хотела, чтобы я пришел. Я молча стал между нею и постелью матери.

— Вилли! — прошептала она, и ее глаза, все ее тело казались воплощением жалости.

Невидимая воля сблизила нас. Лицо моей матери было строго и повелительно. Я повернулся к Анне, как ребенок к нянюшке. Я положил руки на ее сильные плечи, она привлекла меня к себе, и сердце мое уступило. Я спрятал лицо на ее груди, приник к ней и зарыдал...

Она жадно обнимала меня и шептала: «Полно, полно!», — утешая меня, как ребенка... Вдруг она принялась целовать меня. Она с жадной силой страсти целовала мое лицо и губы. Она целовала меня губами, солеными от слез. И я тоже целовал ее...

Затем мы вдруг отпрянули друг от друга и стояли, смотря друг другу прямо в глаза.

Мне кажется, что от прикосновения губ Анны образ Нетти совершенно исчез из моей памяти. Я полюбил Анну.

Мы отправились в совет нашей группы, называвшейся тогда коммуной, и она была записана моей женой, а через год родила мне сына. Мы много времени проводили вместе и вели задушевные беседы. Она была и навсегда осталась моим верным другом, и мы долго были страстными любовниками. Она всегда любила меня, и я

всегда в душе питал к ней нежную благодарность и любовь; всегда при встрече мы дружески обменивались приветливыми взглядами и крепкими рукопожатиями, и с того первого часа мы всю нашу жизнь были друг для друга надеждой, помощью и убежищем, радостной опорой и задушевными собеседниками... Но скоро моя любовь и стремление к Нетти вернулись снова, как будто никогда и не исчезали.

Теперь всем понятно, как это могло случиться, но в те мрачные дни, когда мир лихорадило, это считалось невозможным. Я должен был бы подавить в себе эту вторую любовь, не думать о ней, скрывать ее от Анны и лгать всем людям. По теории старого мира только одна любовь имела право существовать, только к одному человеку, нам же, плывущим по морю любви, трудно даже понять это. Предполагалось, что мужчина всецело сливается с любимой женщиной, а женщина — с любимым мужчиной. Ничего не должно оставаться для других, а если что осталось, то это считалось позором. Они составляли тайный замкнутый круг из двух существ, к которому примыкали только рождаемые ими дети. Ни в одной женщине, кроме своей жены, он не должен был находить ничего красивого, ничего приятного, ничего интересного; и то же самое было обязательно для его жены. В былое время мужья и жены укрывались парами в защищенные маленькие домики, словно животные в свои норы, намереваясь любить друг друга, но в этих «домашних очагах» супружеская любовь на деле быстро превращалась в ревнивую слежку за тем, чтобы не нарушалось нелепое право собственности друг на друга. Первоначальное очарование быстро исчезало из их любви, из их разговоров, сознание собственного достоинства — из их совместной жизни. Предоставлять друг другу свободу считалось страшным позором. То, что мы с Анной, любя друг друга и совершив вместе наше свадебное путешествие, продолжали жить каждый своей жизнью и не свили семейного гнездышка, пока она не стала матерью, показалось бы тогда угрозой для нашей нерушимой верности. А то, что я продолжал любить Нетти, которая тоже различной любовью любила и меня и Веррола, считалось бы нарушением святости брачных уз.

Тогда любовь была жестоким, собственническим чувством. А теперь Анна могла предоставить Нетти жить в мире моей души так же свободно, как роза допускает присутствие белых лилий. Если я мог наслаждаться нотами, не встречающимися в ее голосе, то она только

радовалась тому, что я могу слушать и другие голоса, потому что она меня любила. И она тоже любовалась красотой Нетти. Теперь жизнь так богата и щедра, дает такую дружбу и столько интересов, столько помощи и утешения, что ни один человек не мешает другому наслаждаться всеми формами красоты. Для меня Нетти всегда была олицетворением красоты, того божественного начала, которое озаряет мир. Для каждого человека существуют известные типы, известные лица и формы, жесты, голос и интонация, обладающие этими необъяснимыми, неуловимыми чарами. В толпе доброжелательных, приветливых мужчин и женщин — наших ближних — они безошибочно притягивают нас. Они невыразимо волнуют нас, пробуждают те глубокие эмоции и чувства, которые без них оставались бы дремлющими, они вскрывают и объясняют нам мир. Отказаться от этого объяснения — значит отказаться от солнечного блеска, значит омрачить и умерщвлять жизнь... Я любил Нетти, любил всех, кто походил на нее, поскольку они напоминали мне ее голос, ее глаза, ее стан, ее улыбку. Между мной и моей женой не было никакой горечи из-за того, что великая богиня Афродита, царица живых морей, дарующая жизнь, являлась мне в образе Нетти. Это нисколько не ограничивало нашу любовь, так как теперь в нашем изменившемся мире любовь безгранична; это золотая сеть над миром, связующая все человечество.

Я много думал о Нетти, и всегда все прекрасное, трогавшее меня, прекрасная музыка, чистые густые краски, все нежное, все торжественное напоминало мне о ней. О ней шептали звезды и таинственный свет луны, солнце сияло в ее волосах, сыпалось на них тонкими блестками, лучилось и сверкало в их прядях и завитках... И вот неожиданно я получил от нее письмо, написанное прежним четким почерком, но более выразительное, яркое. Она узнала о смерти матушки, и мысль обо мне так упорно преследовала ее, что она решилась нарушить молчание, которое я на нее наложил. Мы стали переписываться как друзья, вначале с некоторою сдержанностью, и я все больше и больше жаждал ее увидеть. Сначала я скрывал от нее это желание, но наконец решил открыться. И вот в день Нового Года — Четвертого Года новой Эры — она приехала ко мне в Лоучестер. Как хорошо помню я этот приезд, хотя с тех пор прошло около пятидесяти лет! Я вышел в парк ей навстречу, так как хотел встретиться с ней

наедине. Было тихое, очень ясное и холодное утро, земля была устлана свежавыпавшим снегом, а все деревья унизаны неподвижным кружевом блестящих кристаллов инея. Восходящее солнце чуть-чуть позолотило этот белый ковер, и сердце мое отчаянно билось от радости. Я помню и теперь освещенные солнцем снежные хребты прибрежных холмов на фоне ясного голубого неба... И я увидел женщину, которую любил; она шла между тихими белыми деревьями...

Я сделал богиню из Нетти, а она явилась ко мне как женщина. Она шла ко мне тепло одетая, но трепещущая, глаза ее были влажны, руки протянуты, на губах играла прежняя знакомая, милая улыбка. Из созданной мною грезы о ней она выступила как существо, полное желаний, сожалений и человеческой доброты. Ее руки, когда я взял их, были немного холодны. Она сияла, как богиня, и ее тело было храмом моей любви. Но я почувствовал что-то новое — ее живую плоть и кровь, ее дорогие, смертные руки...

Эпилог

Окно башни

Вот что написал приятный на вид седовласый человек. Я так увлекся первой частью его истории, что совсем забыл об авторе, о его красивой комнате и о высокой башне, где мы сидели. Но, дочитывая до конца, я снова почувствовал странность всего окружающего. Мне становилось все яснее, что это было человечество иное, не то, которое я знал, человечество сказочное, с другими обычаями, верованиями, понятиями и чувствами. Комета изменила не одни только условия жизни и человеческие установления, но и умы и сердца. Она лишила человечество прежних, привычных свойств, отняла, у него мстительность, злость, мелкую жгучую зависть, непостоянство, капризы. В конце, в особенности при описании смерти матери, меня уже не волновала его история. Майские огни сжигали то, что во мне еще жило и чем я возмущался, в особенности этим возвращением Нетти. Я читал теперь не так внимательно; я уже не чувствовал заодно с автором и не всегда понимал, что именно он хочет сказать. Эрос — его властелин! И он и его преображенные сограждане прекрасны и благородны, как фигуры героев на больших картинах или статуи богов, но от людей они так же далеки, как эти боги. По мере того, как осуществлялась Перемена, с каждым ее новым практическим шагом пропасть все более расширялась, и мне становилось все труднее следить за рассказом.

Я положил последнюю тетрадь и встретил дружелюбный взгляд автора. Он по-прежнему казался мне очень симпатичным.

Меня смущал один вопрос, но я не решался задать его. Он казался мне, однако, настолько важным, что я наконец спросил:

— И вы... вы стали ее возлюбленным?

Он приподнял брови и ответил:

— Конечно.

— Но ваша жена?..

Он, видимо, не понял меня.

Я колебался, меня смущала пошлость моих вопросов.

— Но... — начал я, — вы оставались любовниками?

— Да, — ответил он.

Я усомнился в том, что мы понимаем друг друга, и сделал еще более смелую попытку.

— А других возлюбленных у Нетти не было?

— У такой красивой женщины! Я не знаю, сколько человек любило в ней красоту, не знаю и того, что находила она в других. Но мы, понимаете ли, мы четверо были большими друзьями, помощниками, любовниками в мире любовников.

— Четверо?

— Ну да, четвертый — Веррол.

Мне внезапно представилось, что мое возмущение мрачно и низко, что дикие подозрения и грубая ревность моего старого мира не существуют для этих людей, исчезли из их утонченной жизни.

— Вы устроили, следовательно, — сказал я, стараясь смотреть на вещи как можно шире, — один общий домашний очаг?

— Домашний очаг! — воскликнул он и посмотрел на меня, а я, не знаю почему, посмотрел на свои ноги. Какие неуклюжие, безобразные ботинки! И какой грубой и бесцветной показалась мне моя одежда! Каким грязным казался я среди этих изящных, доведенных до совершенства вещей! На минуту я поддался чувству возмущения. Я хотел отделаться от всего этого. В конце концов, все это не в моем вкусе. Мне захотелось сказать ему что-нибудь такое, что осадит бы его; захотелось бросить ему оскорбительное обвинение и, таким образом, окончательно убедиться в верности моих подозрений. Я поднял голову и увидел, что он встал.

— Я совсем забыл, — сказал он. — Вы думаете, что старый мир еще существует. Домашний очаг!

Он протянул руку, и большое окно бесшумно раздвинулось донизу, и я увидел панораму волшебного города. На минуту предомно совершенно ясно предстали колоннады и площади, деревья, унизанные золотистыми плодами, кристальные воды, музыка, радость, любовь и красота, растекающиеся по живописным и извилистым улицам. Я разглядел и ближайших людей, уже не искаженных зеркалом, висевшим над нами. Они не оправдывали моих подозрений... и все же... это были те же прежние люди, но измененные. Как выразить эту перемену словами? Так преображается

женщина в глазах влюбленного, так преобразается женщина благодаря любви. Они казались восторженными...

Я стоял рядом с ним и смотрел. Мое лицо и уши горели; меня смущало неприличие моего любопытства и угнетало чувство глубокого нравственного различия. Он был выше, чем я.

— Вот наш очаг, — сказал он, улыбаясь и задумчиво глядя на меня.

notes

1

ПО ДОЛЖНОСТИ (*лат.*)

2

Стивидор — квалифицированный судовой грузчик.

3

благородство обязывает (*франц.*)